

В последнее время “либеральный агитпроп”, центр которого сосредоточен на отечественном телевидении, взялся за разработку ключевых тем, связанных с отечественной историей — как советской, так и досоветской. Эта разработка воплотилась в серии проектов, направленных на пересмотр основных исторических вех России: “проект Иван Грозный”, “проект Григорий Распутин”, “проект Сталин”, “проект Советская цивилизация”, “проект Великая Отечественная война”. По существу, и сама программа “Суд времени”, идущая на петербургском канале, замыслена как суд над всей историей России, чему немало способствует и позиция “судьи” — Николая Сванидзе, больше напоминающего средневекового инквизитора, который, вопреки всем правилам судебной практики, регулярно позволяет себе иметь “личное мнение” сузубо либерального характера. Другое дело, что все попытки “осудить” советскую цивилизацию, советского человека как “антропологическую катастрофу”, индустриализацию и Великую Отечественную войну как предприятия, “не стоившие таких жертв”, были обречены на провал (что подтвердило и зрительское голосование) подобно тому, как с треском провалился “суд над КПСС” в 1992 году, ставший подлинным позорищем для либералов, захвативших власть.

К подобным “проектам” относится и так называемый “проект Есенин”, воплотившийся в телевизионном варианте в известном сериале, а в книжном — в “Биографии” поэта, вышедшей в серии “Вита Нова”. И фигура Есенина здесь крайне характерна как фигура, связующая дореволюционную Россию с революционной, сама собой обеспечивающая преемственность времен. В частности, это подтвердилось массовым рукописным распространением его поэзии в годы, когда больше ни один поэт не распространялся в списках в таком количестве, в том числе и в годы Великой Отечественной.

Вот почему редакция сочла необходимым разобрать данный плод “либерального агитпропа” в книжном воплощении.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ЕСЕНИН И “АЛЬФРЕДЫ”

За последнее время в нашей литературной жизни выделился один эпизод, волей-неволей обративший на себя внимание.

Кажется, давным-давно игнорируются или, во всяком случае, не принимаются в серьезное внимание многочисленными авторами различных книг отрицательные рецензии на их продукцию. Расслоение, точнее, распад литературного процесса стал точным отражением распада самого общества — ни до кого никому нет дела. Каждый сидит в своей скорлупе, которая представляется самым надежным убежищем даже не от мировых бурь и циклонов — от простого дуновения отечественного ветра. Никаким убежищем, естественно, эта скорлупа быть не может, но слишком соблазнительно считать ее некоей “броней”.

Нашлись, однако, авторы, которые сочли для себя возможным скинуть эту “броню” — и дать письменный ответ на рецензию, напечатанную в “Литературной газете”. Я имею в виду доктора филологических наук Олега Андершановича Лекманова и кандидата филологических наук Михаила Игоревича Свердлова, которым очень не понравился отзыв доктора филологических на-

ук Натальи Игоревны Шубниковой-Гусевой на их книгу “Сергей Есенин. Биография” (см. “Литературная газета”, 4 февраля 2009). Казалось бы, что страшного в отрицательном впечатлении, сложившемся у специалиста с многолетним стажем по изучению биографии и творчества Есенина? Вокруг имени поэта кипели еще и не такие баталии... Но именно в наше время полного равнодушия всех ко всем и всему ретивое авторов “Биографии” загорелось, и они решили не просто ответить – нет, решили поучить Шубникову-Гусеву, как надо писать отрицательные рецензии.

В этой истории есть, на первый взгляд, немало комического. И отдание должного тем, “кто хвалит книгу за научную добросовестность” (именно в этом ракурсе авторы оценивают свой собственный труд). И указание на то, что “когда специалист выносит какой-либо работе отрицательный вердикт, не выходя за пределы здравого смысла... с ним можно соглашаться или спорить. Но как реагировать на заявления вроде – “черная биография Есенина”? Разве что плечами пожать”, при том, что это “пожатие плечами” растянулось у авторов почти что на 10 страниц журнального текста (“Новое литературное обозрение”, № 99, 2009). Заодно получается, что автор отрицательной рецензии на “Биографию” “вышел за пределы здравого смысла” – и о чем тут тогда вообще может быть спор? Но вышел, видимо, не до конца, на что ему педантично указывают О. Лекманов и М. Свердлов: “Занятная логика – с одной стороны, клеймить книгу последними словами, а с другой – указывать на обычные, как у людей, “ошибки”, “натяжки”, отсутствие новизны. Сказав “А”, тогда уж надо было говорить “Б” – и строго придерживаться славной традиции погрома и проработки”.

Для начала – никаких “последних слов” в рецензии Н. Шубниковой-Гусевой я не обнаружил, полагаю, что их можно было отыскать, лишь распалив свое богатое воображение. Впрочем, собственную “натяжку” в данном случае, как видно, тут же поняли и сами авторы. И очень пожалели, что не состоялось ничего подобного в духе “славной традиции погрома и проработки”. Это было бы для них, судя по тональности и содержанию их последнего выступления в “НЛО”, подобием манны небесной. И не потребовалось бы упоминать об “ошибках” и “натяжках”, “обычных, как у людей”, заключая эти слова в стыдливые кавычки, намекая тем самым читателю, что на самом-то деле никаких “ошибок” и “натяжек” в “Биографии”, конечно же, нет, ибо главное достоинство книги – пресловутая “научная добросовестность”.

Впрочем, говорить об авторской добросовестности я бы лично поостерегся. Ибо комический эффект, который создают такого рода содержательные пируэты, начинает улетучиваться, когда мы подходим к чисто прокурорской формулировке, к которой наши “добросовестные” авторы сводят весь смысл своего ответа: “... Есть ли хоть какая-то логика в этой алогичной статье? К сожалению, есть: все здесь подчинено логике редукции, пытающейся свести сложный и противоречивый материал к простейшим утверждениям и элементарным антитезам. Тенденция такого рода критики – примитивизация на всех уровнях, и в отрицании, и в утверждении” (курсив авторов “ответа”. – С. К.). Написать подобное об авторе книг “Поэмы Есенина. От “Пророка” до “Черного человека”, “Сергей Есенин и Галина Бениславская”, о составителе многочисленных томов воспоминаний о поэте, фундаментально и добросовестно откомментированных – значит, потерять некоторое представление о реальности и самим впасть в дурную тенденцию ведения разговора по принципу: “А ты кто такая?” И сведение претензий исследователя к “Биографии” к примитивизации на всех уровнях – авторов, мягко говоря, не красит. Впрочем, в подобном пассаже нет никакой случайности. Подтверждением тому послужит разговор об этой самой “Биографии”, получившей весьма богатую прессу, в которой преваляровали апологетические отзывы – в силу чего реакция авторов на чуть ли не единственную отрицательную, правда, достаточно жесткую рецензию выглядит несколько странной. Но как мы увидим, повторюсь, совершенно не случайной.

* * *

Мимо этого толстенного, роскошно оформленного тома, в самом деле, трудно было пройти. Биография Сергея Есенина, написанная Олегом Лекмановым и Михаилом Свердловым, одна из писательских биографий, вышедших

в серии, изданной Санкт-Петербургским издательством “Вита Нова”, снабжена многочисленными ссылками на самые разнообразные источники, обширной библиографией и богатым “Указателем упоминаемых лиц”. Во всем ощущается солидность, источниковедческая оснащенность, фундаментальный подход к судьбе и творчеству поэта. Привлекла внимание и фраза из преамбулы “от авторов”: “Теми, кто пишет о поэте, чаще всего движет читательская любовь, а не филологическая любознательность. Вот почему в работах о поэте анализ сплошь и рядом вытесняется апологетическим пафосом. За редкими исключениями есениноведы не могут или не хотят дистанцироваться от Есенина: они стремятся, вольно или невольно, не столько к исследованию есенинской биографии, сколько к защите и восхвалению “рязанского соловья” (с. 7).

Прочитав подобное, сразу настраиваешься на то, что сами авторы руководствуются в своем подходе не любовью к поэту, а “филологической любознательностью”. Приступают к исследованию, руководствуясь “анализом”, а не “восхвалением”, ибо не ставят себе целью “во что бы то ни стало обелить (или очернить) поэта в глазах читателя” (с. 8). Подход похвальный, если не считать сущей мелочи. Трудно себе представить книгу о поэте (любом), которая пишется без “читательской любви” к нему. Настораживает и еле заметный проговор: в первую очередь авторы стараются “не обелить” Есенина – глагол “не очернить” следует уже потом, между делом, в скобках. Да и сразу же уточнить хотелось бы – кто из есениноведов, по мнению О. Лекманова и М. Свердлова, “вытеснял анализ апологетическим пафосом”?

Уже в самом конце своего многостраничного исследования авторы с легкостью в мыслях необыкновенной, упоминая о шестидесятилетии Есенина, которое “справлялось уже как юбилей в полном смысле слова советского поэта”, пишут: “Так начался длительный период сусального официального есениноведения, суть и дух которого идеально передает, например, цитата из юбилейной речи Сергея Михалкова 1975 года” (с. 579). Далее следует сама цитата – не Бог весть что “передающая”, но, очевидно, необходимая авторам, ибо содержит в себе понятия, определено им не нравящиеся: “Огромная душевная широта и любовь к родной земле”, “активный патриотизм”... Однако, если отвлечься от индивидуальных вкусов и предпочтений и перейти к фактам – неизбежно придется задать вопрос: О. Лекманов и М. Свердлов в самом деле считают, что последующие годы были “длительным периодом сусального официального есениноведения”, в котором все появлявшиеся труды были выдержаны в тональности Сергея Михалкова? Может быть, именно клеймо “сусальности” стоит на книгах В. Г. Базанова, статьях В. В. Базанова, которые отсутствуют в приложенной к тому “избранной библиографии”, или статьях В. Вдовина, которые в ней упоминаются? Можно как угодно относиться к книге Аллы Марченко “Поэтический мир Есенина”, первое издание которой вышло в 1972 году (авторы предусмотрительно отмечают лишь переиздание 1989 года), но при всем желании невозможно узреть хоть малейший налет “сусальности” или “михалковщины” на этом исследовании. И это лишь первое, что вспоминается “с лету”.

Так в финале своего фолианта авторы фиксируют своеобразную “расчистку территории”, обозначая свой собственный приоритет. В начале же “беспристрастной” биографии О. Лекманов и М. Свердлов заранее оговаривают, что все восторги и инвективы передоверяют “мемуаристам и современному поэту критикам” (с. 8). Книга, в самом деле, большей своей частью состоит из цитат: критики и мемуаристы используются щедро, в объемных цитатах, сносках и сносках, а авторы, кажется, лишь воспроизводят всю разногласицу мнений и воспоминаний о поэте, сохраняя дистанцию. Дескать, вот вам мнение современника – а дальше думайте, как знаете, что тут правда, а что – нет.

Но в том-то и дело, что эта “отстраненность” лишь кажущаяся.

Среди мемуаристов, писавших о Есенине, большая часть людей едва ли понимала поэта, о чем недвусмысленно написала в свое время Анна Берзинь: “Мы видели, как он пьет, отводили его руку от стакана... а как он работает – не знали, даже не интересовались”. Для многих из них оказалась “не в указ” и хрестоматийная есенинская строчка: “Большое видится на расстоянии”. И “на расстоянии” писалось не меньше глупостей, чем “по горячим следам”.

Изображение поверхностью понятий поступков героя перемешалось со сплетнями, неотделимыми от фигуры любого более или менее известного человека. А уж когда речь идет о Есенине...

К миру и к людям он изначально шел открыто и честно, замыкался и грубил тогда, когда наталкивался на непонимание или, что чаще, нежелание понять, на человеческую тупость или злобу. Чистый и искренний от природы, — не мог замыкаться долго, снова готов был идти навстречу первому попавшемуся (“Все встречаю, все приемлю, рад и счастлив душу вынуть...”) — а в ответ...

Непросто даже прикинуть — какое количество “друзей”, приятелей, случайных знакомых паразитировало на есенинской откровенности, с упоением обсасывая тот или иной его неосторожный поступок, то ли иное брошенное сгоряча словцо. И сколько же мемуаров, опубликованных и оставшихся в стенах государственных архивов и в частных собраниях, родилось на этом зыбком неадекватном “фундаменте”, как на плавуне, качающемся под ногами.

Поэтому отбор мемуарного материала при написании книги о Есенине требует сам по себе чрезвычайной тщательности и предельной аккуратности. В противном случае авторы, соблазненные кажущейся легкостью использования всего возможного, что под рукой, могут угодить в непредусмотренную ловушку — пойти на поводу у пристрастных, подчас недалеких и не слишком умных современников, едва ли пользовавшихся на самом деле уважением самого поэта.

И может создаться поверхностное впечатление, что О. Лекманов и М. Свердлов пошли по этому пути, если следовать за ними, как за путеводителями по жизни Есенина, “ныряя” из цитаты в цитату, из сноски в сноску. Но стоит отойти на минимальное расстояние, как становится очевидно: все источники, все цитаты, все ссылки именно тщательно подобраны с одной — достаточно прозрачной — целью: разделить непреходимой гранью поэта и человека. С целью — “превознося” на словах первого (на самом деле это “превознесение” весьма сомнительного свойства, в чем мы еще убедимся), по возможности необратимо дискредитировать и унижить второго.

Дабы убедиться в этом — пройдемся по тексту представленной нам “Биографии”, по возможности не увязая в полемике по мелочам (хотя сплошь и рядом эти “мелочи” чрезвычайно значимы, при том, что пробрасываются как бы “вскользь”).

* * *

Занятная тональность всей книги задана уже в самом ее начале — в рассказе о детстве Есенина.

“... Попробуем не слишком поддаваться есенинскому обаянию и суммировать факты о детстве и юности поэта в том селе, где всю делали “шлюза” и напряженно ожидали постройки железной дороги. Где жители подписывались на журнал “Сельский хозяин”, информировавший своих читателей о способах “выпаивания телят”, “содержания и откармливания свиней”, разведения “каракульских овец”, “приготовления коровьяго кумыса и мн. др.” (тут же следует ссылка на “Рязанские губернские ведомости” от 8 ноября 1908 года. — С. К.). И где сам Сережа увлеченно играл в крокет, а школу проходил не столько “по заре и звездам”, сколько по прописям и учебникам” (с. 12).

И все дальнейшие факты “суммируются” на солидной дистанции не столько от “есенинского обаяния”, сколько от его поэзии, говорящей о мире, в котором жил Есенин, о его восприятии этого мира больше, чем любой набор фактов. Но уж если идти по “фактам”, то едва ли стоило небрежным жестом отмахиваться от есенинских автобиографий, где поэт описывает свои походы в ночное, бешеную скачку на лошади, подхлестнутой припадочным дядюшкой, хождения с бабкой Натальей Евтихиевной в монастырь под ее присказку: “Иди, иди, ягодка, Бог счастья даст”... Но самое главное все же в другом: нет ни малейшего противоречия между “школой” и “крюкетом” с одной стороны — и рязанской природой с другой.

Я не знаю, бывали когда-либо авторы “Биографии” в Константиново (внимательно читая их книгу, в этом можно всерьез усомниться) и что они там видели. Но мне представляется чрезвычайно существенным то, что они фактически игнорируют на протяжении всей своей книги мир русской природы в есенинской поэзии. И это отнюдь не случайно. Скверно зная живую природу или не зная ее вообще — писать о Есенине чрезвычайно затрудни-

тельно. Рискуешь пройти мимо наиболее существенных сторон его поэтического творчества.

(В том, что этот мир обрел зримые черты позднее, когда Есенин уехал из родного села в Москву, а позже – в Петроград – нет ничего удивительного. Отходя на расстояние, пространственное и временное от привычной, родимой и, может быть, даже приевшейся ойкумены, обретаешь ее заново, открываешь в ней многое из того, что не замечал раньше. Она входит в твою поэтическую вселенную, наполняясь теми красками и звуками в движущемся образе, какие не открывались в детстве и ранней юности).

Но от того, что чуждо тебе лично, проще всего отмахнуться, объявив строки: “О край разливов грозных и тихих вешних сил, здесь по заре и звездам я школу проходил” – “биографическим мифом” (с. 9). Вообще представление о живой природе и о жизненных реалиях, как таковых, у авторов книги, мягко говоря, весьма своеобразное.

Так, один из авторов – О. Лекманов – в комментарии к стихотворению В. Маяковского “Дачный случай” (“Новое литературное обозрение”, № 5, 2005), отталкиваясь от заметки А. Жолковского “Поэтика произвола и произвольность поэтики”, комментирует строки поэта (“Поляна – и ливень пуль на нее, огонь отзвенел и замер, лишь вздрагивало газеты рванье, как белое, рваное знамя”) следующим образом:

“Сам Жолковский совершенно справедливо замечает, что речь здесь, возможно, идет “о той самой “Комсомольской правде”, где появятся эти стихи... Он же пишет о том, что праздник, упоминаемый в пятой строке “Дачного случая”, “вероятно, Первомайский, учитывая дату публикации (30 июня)”... И далее добавляет свое “наблюдение” к “наблюдению” Жолковского, упоминая стихотворение Ивана Молчанова “Свидание” и ответ на него Маяковского (“Письмо к любимой Молчанова, брошенной им”): “Обратим внимание, что эту свою сатиру на Молчанова Маяковский счел необходимым поместить именно в “Комсомольской правде” (в номере от 4 октября 1927 года) – то есть в той же газете, где Молчанов опубликовал свое “Свидание”. Это, как кажется, может послужить дополнительным аргументом в пользу предположения Жолковского о “газеты рваньё” как о “Комсомольской правде”: какую газету в стихотворении изображаем или упоминаем, в такую и несем стихотворение печатать”.

Логика поистине фантастическая, и остается только робко спросить – следовал ли ей в жизни Маяковский... Во всяком случае, газета, в которую поэт и его приятели палили на даче как в мишень, превращается у Жолковского, а следом за ним и у Лекманова в “Комсомольскую правду” от 1 мая 1928 года, в которой тот же Молчанов опубликовал новое стихотворение “Весны”, то есть стреляла компания в строчки ненавистного “горлану, главарю” стихотворца... Но читаем в этом же стихотворении у Маяковского: “Цветов детвора обступает меня, так называемых – лютиков... Компания дальше в кашках пошла, револьвер остыл давно, пошла беседа, в меру пошла...” И вспоминаем о том, что ни лютики, ни кашки (т. е. клевер) не цветут в Подмосковье в начале мая. Цветение клевера приходится на конец означенного месяца, а цветение лютика – на середину июня. Обративший мое внимание на сущую комментаторскую нелепость старший научный сотрудник Государственного музея В. В. Маяковского Л. Селезнев сопроводил лекмановский комментарий ядовитым примечанием: “Полезно было бы О. Лекманову (а заодно и редакторам “НЛО”) 1 мая выехать в подмосковный лес и посмотреть: что же в это время там цветет... Маяковский, хотя и равнодушен был к природе, имел взгляд художника: зоркий и цепкий в деталях... А праздников (и новых и старых) в 1920-е годы, в летние месяцы, было предостаточно и без 1 мая. Но уж очень хочется редакции “НЛО” в очередной раз “открыть огонь” по советской эпохе”.

Про советскую эпоху мы еще поговорим уже непосредственно в связи с рассматриваемой есенинской биографией. А пока отметим, что не зря в этой “Биографии” отсутствует описание есенинского мира живой природы, и обратим внимание на занятный эпизод из жизни поэта, относящийся к бакинскому периоду.

О. Лекманов и М. Свердлов, цитируя фразы Есенина из письма Г. Бениславской (“... Я по дурости искупался в середине апреля в море при сильном ветре. Вот и получилось. Доктора пели на разный лад. Вплоть до скоротечной чахотки...”), делятся с читателем своими “подозрениями” в некоем присутст-

вующем “подвохе”: “...Странно: с какой стати Есенину вдруг вздумалось купаться в холодную, ветреную апрельскую погоду?” И находят соответствующий ответ: “Ситуацию проясняют малоизвестные воспоминания одного из бакинских знакомых Есенина —...Ф. Непряхина. По его свидетельству, в один из вечеров во время посещения нефтяных промыслов Биби-Эйбата поэт неожиданно подбежал к открытому резервуару, наполненному нефтью, и, чуть помедлив на самом краю, бросился вниз. Испуганные спутники Есенина бросились ему на помощь, вытащили, помогли в море смыть нефть. В результате этого случая поэт и оказался в Бакинской больнице им. Рогова с сильнейшей простудой...” (с. 518).

Эти воспоминания Ф. Непряхина (которого трудно назвать даже знакомым — он был лишь одним из членов бакинского литературного кружка, который несколько раз посетил поэт) о Есенине, плавающем в резервуаре с нефтью, были впервые напечатаны под заголовком “Поэт и нефть” в газете “Баку” в 1965 году. Больше никто из “спутников” не вспоминал ни о чем подобном, а непрыхинские писания никто не принял всерьез — в силу их абсолютной фантастичности, и лишь в нашу фантазмагорическую эпоху, когда любое вранье сойдет за неопровержимый факт (по принципу “нет дыма без огня”), они могли быть введены “в научный оборот” сначала в журнале “Русский язык и литература в Азербайджане”, а потом в рассматриваемом сочинении. (Кстати, тот же Непряхин в своем “мемуаре” отметил, что Есенин “провел не одну неделю в больнице”, тогда как хронология событий этого времени неопровержимо свидетельствует, что Есенин провел в ней максимум неделю). Сам Есенин, будучи таким позером и хвастуном, каким его рисуют О. Лекманов и М. Свердлов на протяжении всей книги, не преминул бы похвастаться подобным “подвигом”, но суть в другом: неужели О. Лекманов и М. Свердлов всерьез полагают, что подобное “купание” могло иметь место в действительности, и что его последствием могла быть лишь “сильнейшая простуда”? Или они считают, что это то же самое, что омыть нефтью лицо и руки, как порой поступают нефтяники?

А под этот “факт” уже подводится “солидная идейная база”: это “второе крещение” поэта “означает... может быть, черное крещение смертью” (с. 519).

Концептуальность “жизненного пути” и “возможного конца” в наличии. А что в основе? Фантазия литературного неудачника, обозначающего свою “близость” через некую явленную жизненную “экстравагантность”?

Ладно, отойдем от “жизни” и переключимся на “литературу”, в области которой, как кажется, авторы чувствуют себя более уверенно. Разделить, впрочем, “жизнь” и “литературу” нам до конца так и не удастся, да это и невозможно в принципе. Но любопытную, однако, операцию в этой области “разделения” пытаются проделать наши авторы.

* * *

Прежде всего, они чрезвычайно увлечены процессом “разоблачения” своего героя, “срывания” с него “всех и всяческих масок”, во всяком случае там, где эти маски им видятся.

“Александр Никитич еще мог бы сказать о себе горделивыми есенинскими строчками:

*У меня отец крестьянин,
Ну а я крестьянский сын.*

(“Мелколесье. Степь и дали...”)

А вот его сын Сергей — уже нет” (с. 12).

И каковы же основания у авторов для подобного утверждения? Что Александр Никитич Есенин “в деревне... бывал лишь наездами” (с. 12)? Во-первых, это неправда — он приезжал из города и жил подолгу в Константиново. Крестьянский труд, действительно, был ему тяжек, Татьяна Федоровна, мать поэта, зарабатывала деньги на жизнь то в Москве, то в Рязани — но происхождение у Есенина именно крестьянское, о чем поэт с гордостью говорил не только в стихах. “Я сын крестьянина”, — так он начал свою очередную авто-

биографию, и сомневаться в этом до сего дня ни у кого не было оснований. А уж о воспитании в семье бабки и деда, живших именно сельским трудом, и говорить нечего.

И уж тем паче, при более или менее объективном разговоре о детстве Есенина, невозможно было бы не упомянуть о бабушке Аграфене Панкратьевне, слышавшей в Костантинове одаренной песельницей, плачущей и воплещей... У нее-то, очевидно, и брал Сергей свои первые “поэтические уроки”. Не случайно, как вспоминала сестра поэта Екатерина, “он хорошо ее помнил, но никогда не произносил ее имя”. Видимо, память о ней долго саднила в душе юноши.

“В силу понятных причин спустя десятилетия мемуаристы на все лады расписывали его чудесные дарования, проявившиеся в самых различных областях” (с. 15).

Хотелось бы, чтобы авторы указали на эти самые “понятные причины”, ибо без них фраза повисает в воздухе и остается “тонкий намек на некие толстые обстоятельства”, а, точнее, непонятно на что. Какие опять же основания у Лекманова и Свердлова не верить мемуаристам, писавшим, что Есенин в деревне был среди ребят “первый заводила”, что был мастак “половить утят”, да и утверждению самого Есенина, что в лазании по деревьям “из мальчишек никто не мог со мной тягаться” (с. 15–16) ? У авторов есть свидетельства противоположного? Какие? Чьи? Не худо бы привести их, прежде чем бросать туманные, ни к чему не обязывающие фразы “с подколочкой”: дескать, “не так все было”.

Этот зуд разоблачительства играет с авторами настолько дурную шутку, что они даже не замечают анекдотичности своих же собственных утверждений. “Стихи начал писать, подражая частушкам”, – свидетельствует Есенин в автобиографии 1923 года. А восемью годами раньше в одной из первых автобиографий поэт точно указал на первоначальный исток своего творчества: “К стихам расположили песни, которые я слышал кругом себя, а отец мой даже слагал их”. О частушках, сочиняемых Есениным, вспоминает и А. Зимины, его частушки приводят по памяти Николай Сардановский, Николай Титов... Из них из всех авторы отбирают лишь Зимину, “уличают” ее в том, что она “родилась через пять лет после событий, которые описывает” (с. 17). И получается, что Есенин не частушки сочинял про белобрысого попа Гаврилу и помещика Кулакова, а бессмыслицу “тина-мясина”, запомненную Клавдием Воронцовым.

К чему все это? Да к тому, – подводят наши авторы, – что не такой уж и одаренный мальчик-то в детстве был, как о нем написано... Знаем-с, знаем-с... “Легенду о необыкновенно рано пробудившихся в мальчике творческих способностях отнюдь не подтверждает следующий печальный факт из биографии двенадцатилетнего Сереги-монаха: в третьем классе училища он просидел два года” (с. 18). А то, что причина сего печального факта – неумное поведение и баловство, а отнюдь не “тупоумие”, на которое явно намекают авторы, – об этом, естественно, лучше умолчать. Замять. Для ясности. Так же как, упомянув о похвальном листе по окончании Константиновского четырехклассного училища и отметив (с той же “разоблачительской” ноткой), что “похвальные листы получили все ученики, окончившие четыре класса” (с. 18), умолчать о том, что трое из всех (и в эту троицу входил Есенин) были награждены особой премией – рекомендацией для поступления в Спас-Клепиковскую учительскую школу или Рязанское духовное училище.

М-да... Начнешь вот так читать книгу – и увязнешь на первой же главе в передержках, многозначительных недосказанностях, искажениях фактов – и все неявно, “в пробор”, между делом... Явственно ощущая совершенно антиесенинскую тональность всего сочинения, соответственно, к следующим страницам переходить уже с предощущением очередных передергиваний, “разоблачений”, а также ссылок на безусловно “правдивых”, с точки зрения авторов, мемуаристов.

* * *

Перенесемся ближе к середине этого внушительного тома и вспомним (с неизбежностью) об одном из таких мемуаристов – об Анатолии Мариенгофе, “Роман без вранья” которого стал одним из фундаментальных “кирпичей” в

основании “Биографии”. Заранее упреждая все возможные упреки, авторы делают необходимую преамбулу: “... Само название подсказывает: чтобы произвести требуемый парадоксальный эффект, этот “роман” непременно должен был строго, “без вранья”, следовать фактам... именно поэтому никто из недоброжелателей Мариенгофа (с момента публикации произведения и до сего дня) так и не смог уличить его во лжи. Сложнее – с обвинениями в “искажениях” и карикатурности. Мариенгоф действительно играет с фактами, меняя освещение, ракурс, риторический акцент для подтверждения своих пристрастных тезисов – и при этом не жалеет ни друзей, ни врагов, ни живых, ни мертвых... Любое одностороннее прокурорское суждение о мариенгофском “романе” неизбежно бьет мимо цели. И вот почему: не только в названии, но и в основе всей книги главное – парадокс, игра контрастами и противоречиями. “Роман без вранья” – текст с двойным дном: самолюбование автора здесь постоянно переходит в самоиронию, а очернительские ирония, напротив, служат контрастом для высокой темы...” (с. 218–219).

Даже эпизод, связанный с судьбой доцента Московского университета Н. Шварца, который, по Мариенгофу, застрелился после жестокого есенинского разгрома шварцевского “Евангелия от Иуды”, а на самом деле отравился кокаином вне всякой связи с этим разгромом, по мнению авторов, “по сути ничего не меняет” (с. 218). Было бы любопытно разобрать еще пару эпизодов “навскидку” из упомянутого “Романа” и подумать – “меняет” ли что-либо в нашем восприятии мариенгофской книги этот поверхностный анализ.

Эпизод первый:

“Как-то, не дочитав стихотворения, он схватил со стола тяжелую пивную кружку и опустил ее на голову Ивана Приблудного – своего верного Лепорелло. Повод был настолько мал, что даже не остался в памяти. Обливающегося кровью Приблудного увезли в больницу.

У кого-то вырвалось:

– А вдруг умрет?

Не поморщив носа, Есенин сказал:

– Меньше будет одной собакой!”

С Приблудным Есенин познакомился осенью 1923 года, уже после того, как разорвал всякие отношения с Мариенгофом. В одной компании они не встречались, и свидетелем никакой подобной сцены Мариенгоф быть не мог. Но самое интересное другое: никто больше, кроме автора “Романа без вранья”, не вспоминает об этом эпизоде. Остается лишь предположить совершенно клиническую сцену: встречались трое – Есенин, Мариенгоф и Приблудный, – а в больницу Приблудного доставлял лишь Мариенгоф... Но в таком случае – у кого это вырвалось: “А вдруг умрет?” У самого Мариенгофа?

Дальше – больше. Подобный эпизод в принципе не мог развиваться без участия милиции. Копии протоколов пребывания Есенина в милицейских отделениях, слава Богу, сохранились. Тщетно искать в них описание подобной сцены. И уж во всяком случае невеста, а потом и жена Приблудного Наталья Милонова не могла бы не знать о случившемся. Но в записанных за нею воспоминаниях не сообщается ни о чем, даже отдаленно похожем на сцену из “Романа”.

Эпизод второй:

“Из всей литературы наименее по душе была нам – литература военного комиссариата...”

Зажмурили глаза, а вести стали ползти через уши.

С перепугу Есенин побежал к комиссару цирков – Нине Сергеевне Рукавишниковой, жене поэта.

Циркачи были освобождены от обязанности и чести с винтовкой в руках защищать республику.

Рукавишникова предложила Есенину выезжать верхом на коне и читать какую-то стихотворную ерунду, сопровождающую пантомиму.

Три дня Есенин гарцевал, а я с приятельницами встречал и провожал его громовыми овациями.

Четвертое выступление было менее удачным.

У цирковой клячи защеколало в ноздре, и она так мотнула головой, что Есенин, попрыгавший к ее спокойному нраву, от неожиданности вылетел из седла и, описав в воздухе головокружительное сальто-мортале, растянулся на желтой арене.

– Уж лучше голову сложу в честном бою, – сказал он Нине Сергеевне. С обоюдного согласия полугодовой контракт был расторгнут”.

Оставим в стороне отсутствие неумолимого факта – воспоминаний “приятельниц”, других “циркачей” и вообще очевидцев этой забавной сцены... Если бы подобный “цирк со звездами” имел место в реальности – будьте уверены: хоть одна, хоть две газеты того времени дали бы если не красочный репортаж, то содержательную заметку о происшедшем. Ни одна выходка имажинистов без внимания прессы или работников органов внутренних дел не обходилась. Уж в мемуарах потом описывались самые ничтожные “подвиги”... А что касается Есенина – да тут мимо бы никто не прошел!

И интересное, однако, отношение власти к дезертирам! Да если бы на самом деле призыв в действующую армию в условиях гражданской войны грозил имажинистам – никакой “цирк” бы не помог. Дезертиров попросту, не заморачиваясь, ставили к стенке, не составляя никаких протоколов, не заводя никаких номерных “уголовных дел”... Так что “в честном бою” – оставляем на совести Мариенгофа.

Свидетель у нас опять же один – наш мемуарист. Впрочем, свидетель фальшивый. И подтверждение тому – эпизод из воспоминаний его же друга и соратника Вадима Шершеневича, которые называются “Великолепный очевидец”.

“Долгие годы Рукавишников был женат на какой-то брюнетке, купеческой дочери из Одессы. Жил с ней недружно и оборванно. Позже она стала комиссаром цирков, и Рукавишников выступал несколько раз в цирке: читал стихи с лошади. Конечно, свалился”.

Кажется, ясно. Проще всего приписать историю с одним персонажем – “для пушечного впечатления” – другому, да еще и страху нагнать... Дескать – во как жили! У-ю-юй!

Страха, на самом деле, хватало. Но не сочиненного Мариенгофом, а вполне реального, жизненного.

И возможные ссылки О. Лекманова и М. Свердлова на “художественное воображение” писателя здесь не проходят. Они сами выбили этот “kozyрь” из своих собственных рук, в очередной раз “уличая” Есенина:

“Позже, как бы отвечая на вопрос, где он был во время Февральской революции, Есенин сочинит немало по-хлестаковски вдохновенных легенд. Так, в поэме “Анна Снегина” он заговорит от имени фронтовика-дезертира, измученного войной “за чей-то чужой интерес” (с. 140).

И далее, цитируя строки из поэмы – сцену встречи героя и Анны после гибели ее мужа, – тут же соотносят историю героини с историей прототипа: опять все на самом деле было не так!

“Поскольку у реальной Лидии Кашиной не было мужа-белогвардейца (да и вообще не было мужа – с Николаем Кашиным Лидия Ивановна была в фактическом разводе с 1916 года), ее взаимоотношения с Есениным развивались в совершенно ином ключе” (с. 197).

Можно подумать, что писал Есенин на лиро-эпическую поэму, а мемуар о своей жизни. Можно подумать, что Лекманов и Свердлов не понимают разницы между автором поэмы и ее героем. Понимают прекрасно! Но – лукавят.

Больше об “Анне Снегиной” не будет в “Биографии” ни слова. Этот поэтический шедевр, одно из главных произведений Есенина последнего периода его жизни – прокатился мимо авторов, “как по паркету”, пользуясь выражением одного мемуариста, который словно ослеп и ослеп, когда Есенин читал ему свое только-только завершённое произведение.

...Естественнее всего было бы, конечно, заключить, что клиническое вранье Мариенгофа попросту исключает возможность ссылки на него мало-мальски добросовестными исследователями, тем более что многие “персонажи” его “Романа” отказались общаться с автором после выхода книги, о чем наши биографы прекрасно знают, но, естественно, не упоминают. Однако не так все просто на самом деле ни с этим “Романом”, ни с “враньем”, в нем содержащемся.

Дело в том, что первый вариант книги под заголовком “О Сергее Есенине. (Воспоминания)” вышел по горячим следам гибели поэта в 1926 году. Сцены, описанные в этой тоненькой книжечке, посвященные истории создания поэмы “Кобыльи корабли”, “Сорокоуст”, стихотворения “По-осеннему кычет сова...”, вызвали доброжелательный интерес у читателей и критиков и не

спровоцировали никакой отрицательной реакции. Во всяком случае, книжка Мариенгофа в общем потоке “литературы о Есенине” в тот год была отмечена, и отмечена в целом положительно.

А дальше произошло следующее. Видя, каким успехом пользуются на рынке л ю б ы е книги о только что погибшем поэте, как сметаются с прилавков наравне со сборниками разнообразных воспоминаний, книжками Ивана Розанова и Софьи Виноградской низкопробные брошюры Алексея Крученых, Мариенгоф включил свою деловую вставку, которой не единожды восторгаются на протяжении “Биографии” М. Свердлов и О. Лекманов. В мемуаристе заговорил опытный делец – и Мариенгоф прекрасно понял, на что клюнет публика: на соответствующий образ Есенина в контексте жизни литературной богемы конца 1910-х – начала 1920-х годов, написанный пером “лучшего друга”. Здесь уже было не до совести, не до истины, не до уважительного отношения к современнику. “Налетай, торопись, покупай живопись!” В ход пошло все: Есенин, падающий с лошади; Есенин, разбивающий голову Ивану Приблудному; Есенин, заставляющий мемуариста “вытереть носы” цветам на ковре; хлещущая с утра водку Изадора Дункан (ирландка по происхождению, она всегда предпочитала произносить свое имя в ирландском звучании – так мы и будем поступать в дальнейшем); Клюев, сбегавший из Москвы по получении сапог, шитых за счет Есенина... А самое главное – в ход пошел тот образ поэта и человека, который идеально совпал с образом, нарисованным Львом Сосновским в статье “Развенчайте хулиганство!”, а потом – Николаем Бухариным в “Злых заметках”. Деловой интерес (за три года разошлись три издания книги, объемом в несколько раз превышающей предыдущие “Воспоминания”) сопровождала политическая конъюнктура.

Уже одно это соображение могло бы остудить пыл авторов, в самых красивых словах оценивающих “Роман без вранья”. При том, что другого писателя, позволившего себе в мемуарной книге изрядную долю “художественного воображения” и не слишком тепло пишущего о Есенине, они характеризуют как “завистливого Пимена Карпова” и утверждают, что тот “в мемуарах Есенина охаял” (с. 99). Неизмеримо большее охаивание Есенина Мариенгофом превозносится, ибо мариевский “Роман” для наших биографов – незаменимый источник информации.

Так же, как и другая книга, без цитат из которой они не в состоянии представить себе главу “Иван-царевич и Жар-птица: Сергей Есенин в погоне за мировой славой”, посвященную заграничному путешествию поэта. Речь идет о мемуарах Мэри Дести “Нерассказанная история”.

Подходцы (по другому не скажешь) к нужным цитатам весьма своеобразные.

“Кульминацией есенинского пьянства, всевозможных маний и фобий стали два самых громких скандала заграничного периода: первый случился в Нью-Йорке, в Бронксе, незадолго до отъезда из США, второй – в фешенебельном отеле “Крийон” сразу по прибытии во французскую столицу” (с. 457).

Далее следует большая цитата из Вениамина Левина, посвященная скандалу в Бронксе (цитата, предусмотрительно усеченная авторами “Биографии” – и об этом еще будет разговор), – и сразу, без паузы, переход к парижскому отелю “Крийон” – с соответствующей цитатой из Дести о том, как якобы “в номер вломилась шестеро полицейских и забрали мсье в полицию, после того как он пригрозил убить их и переломать в комнате всю мебель, высадил туалетный столик и кушетку в окно”... Наши авторы, приняв все на веру, не моргнув глазом, делают свои глобальные выводы:

“... Поэт не только производил впечатление маленького ребенка, уже не отвечающего за свои поступки, – после американского турне он, по воспоминаниям Адамовича, “был жалок, измучен, он был насмерть подстрелен”.

И поэтому никого не удивляли его дальнейшие поступки.

Предательство? Поэт совершил его с детской улыбкой. Что Есенин говорил в своих интервью, в то время как Айседора всеми силами выгораживала его, виновника громких скандалов на двух континентах: дескать, он был на фронте, три раза, да еще и контужен, терпел неслыханные муки во время революции – и при этом еще он “чудесный гений”? Есенин, оказавшись в Берлине один, без Айседоры, обвинял ее в пьянстве и стал жаловаться газетчикам на то, какой адской была их супружеская жизнь...

Воровство? После разгрома номера в отеле “Крийон”, когда Есенина забрали в полицию, Дункан обнаружила в его портфеле припрятанные им две тысячи долларов. “Господи, Мэри, – воскликнула она, открыв портфель, – неужели я вскормила змею на своей груди? Нет, не верю, бедный Сережа. Я уверена, что он и сам не знал, что делал” (с. 459–460).

Естественный вопрос – можно ли верить Дести? – авторы упреждают коротеньким примечанием: “О достоверности этих сведений, сообщаемых Дести, см.: McVay G. Isadora and Esenin. P. 156” (с. 460).

Я могу себе представить не слишком искушенного и не знающего в существенных подробностях биографию Есенина читателя, который возьмет в руки книгу О. Лекманова и М. Свердлова и будет ошеломлен, если не раздавлен, обилием цитат, ссылок на мемуарные источники, что, естественно, создаст впечатление абсолютной информированности авторов, а также несомненности информации, ими выплескиваемой. Посему разобратся стоит по существу.

Прежде всего: откуда авторы взяли “детскую улыбку”? Их собственное “художественное воображение” подсказало? Или это тоже свидетельство “научной добросовестности”?

Далее: невозможно, обратившись к первоисточникам, не заметить, насколько оригинально Изадора “выгораживала” своего супруга. Чего стоит хотя бы заголовок в парижском издании газеты “Chicago Tribune”:

“Он сумасшедший”, – вот приговор Айседоры беглецу-мужу”.

В-третьих: выдавать, как стопроцентно надежный источник информации, без каких-либо комментариев, – продукцию американских газетчиков, способных все что угодно досочинить и придать всему “нужный” ракурс?.. В подобную наивность наших биографов я, извините, не верю. И мое недоверие имеет под собой все основания: уж больно интересно они сами обращаются с цитируемым документом.

Приводят заявление Есенина из газеты “The New York World”: “Я был дурак... Я женился на Дункан ради ее денег и возможности попутешествовать” (с. 460). После чего цитата “аккуратно” обрывается и перед глазами читателя предстает образ безнадежно испорченного альфонса. Но дело в том, что, при всей тенденциозности заметок о Есенине и Дункан, эти газетные материалы в самом деле могут послужить богатым источником для понимания того, в каком душевном состоянии находился Есенин в финале своего заграничного “турне”. Поэтому приведем данную цитату в более полном виде:

“Сергей Есенин, муж Изадоры Дункан, остановившийся в Берлине на пути в Россию, выплеснул поток русской искренности и открытости. Молодому поэту надоел его брак, надоели жены, Америка и все на свете, кроме искусства, найти которое можно только в Москве.

Когда разговор зашел о его темпераментной жене, его нападки стали еще более резкими, и у него вырвались такие слова:

“Я не буду жить с ней даже за все деньги, какие есть в Америке. Как только я приеду в Москву, я подам на развод. Я был дураком. Я женился на Дункан ради ее денег и возможности попутешествовать. Но удовольствия от путешествия я не получил. Я увидел, что Америка – страна, где не уважают искусство, где господствует один тупой материализм. Американцы думают, что они замечательный народ, потому что они богаты, но я предпочитаю бедность в России”.

Вырисовывается несколько иная картина, не правда ли? И в данном контексте резкие слова о Дункан уже воспринимаются, как выплеск раздражения, причины которого неизмеримо более существенны, чем представляется в процессе чтения главы “Иван-царевич и Жар-птица”. Так что никакое “предательство” тут ни при чем... Кстати сказать, многие слова и поступки Есенина, если угодно, “симметричны” многим словам и поступкам самой Изадоры Дункан. Так, она заявила Службе международных новостей:

“Я никогда особенно не верила в брак, а теперь я верю в него меньше, чем когда-либо... Я вышла замуж за Сергея лишь для того, чтобы помочь ему получить американский паспорт. Он гений, а брак между артистическими натурами невозможен... Вы знаете, некоторые русские не уживаются в другой стране. В этом была трагедия Нижинского. Сергей – такой же”.

А что касается скандала в отеле “Крийон”, то это был своего рода “ответ” Есенина на разгром, который в припадке ревности учинила Дункан в Берлине в пансионе на Уландштрассе, разгром, красочное описание которого оставила Наталья Крандиевская-Толстая – его авторы приводят в своей книге на с. 448.

Но у скандала в “Крийоне” была гораздо более существенная подоплека.

Есенин все заграничное путешествие мучился от невозможности писать – он нигде не мог найти уединения. И тем не менее при том чудовищном режиме, который ему устроила Изадора, он умудрялся-таки работать над стихами, которые потом вошли в цикл “Москва кабацкая”, над первым вариантом “Черного человека” и – самое главное – над “Страной негодяев”, замысел которой возник еще в России. Первая публикация сцены “Экспресс № 5” снабжена датой “14 февраля 1923 года”, а местом написания указан Нью-Йорк. Составители 3-го тома “Летописи жизни и творчества С. А. Есенина” справедливо полагают, что “возможно, начав этот фрагмент в Нью-Йорке, Есенин продолжал работу над ним на пути в Европу вплоть до приезда в Париж”. Это косвенно подтверждают буквальные совпадения слов Есенина, обращенных позже к Софье Толстой, о нью-йоркской бирже (“Это страшнее, чем быть окруженным стаей волков”) со словами Дункан прессе: “Я потеряла четыре месяца жизни на поездку в Америку. Это была мука. К моему мужу в Америке относились хуже, чем когда-либо в России. Американцы похожи на стаю волков... Америку основала шайка бандитов, авантюристы, пуритане и первопроходцы. Теперь всем заправляют бандиты... Американцы сделают что угодно за деньги. Они продадут свои души, своих матерей и своих отцов. Америка больше не моя родина...” Тональность и смысл ее слов во многом совпадают с тональностью и смыслом монолога Никандра Рассветова из указанной сцены “Страны негодяев”. И эту сцену, Есенин, очевидно, дописывал именно 14 февраля, остановившись в “Крийоне”. Слишком много значила эта работа для поэта, если, вынужденный не по своей воле оторваться от нее в очередной раз, он буквально пришел в бешенство.

Так что за свои поступки Есенин отвечал прекрасно. Во всяком случае, причина их вполне понятна сведущему и не ангажированному человеку. И ни о каком “маленьком ребенке” с притворной жалостью говорить не приходится.

И уж тем более очевидна причина скандала в Бронксе в компании еврейских литераторов и журналистов. Авторы “Биографии”, начав цитировать воспоминания Вениамина Левина со слов “... Схватил ее так, что ткань затрещала, и с матерной бранью не отпускал...” и вплоть до криков поэта “Распинайте меня, распинайте меня!.. Жиды, жиды, жиды проклятые!” (с. 457. При последних репликах Левин не присутствовал, он выписал их со слов Мани-Лейба, проверить подлинность которых не представляется возможным) – опять же аккуратно опустили весь предшествующий текст, который один по сути и объясняет причину случившегося.

“Есенин сразу почувствовал, что попал на зрелище... Какие-то незнакомые мужские фигуры окружили Изадору... Она улыбалась всем мило и радостно. Сразу же пошли по рукам стаканы с дешевым вином, и винные пары с запахом человеческого тела скоро смешались. Я слышал фразочки некоторых дам:

– Старуха-то, старуха-то ревнует!..

Это говорилось по-еврейски, с наивной простотой рабочего народа, к которому они принадлежали, и говорили это об Изадоре: это она была “старуха” среди них, лет на десять старше, но главное, милостью Божьей великая артистка, и ей нужно было досадить. При всем обществе Рашель обняла Есенина за шею и говорила ему что-то на очень плохом русском языке. Всем было ясно, что все это лишь игра в богему, совершенно невинная, но просто неразумная. Но в той бездуховной атмосфере, в какой это имело место, иначе и быть не могло...”

Хуже атмосферы для чтения стихов придумать было невозможно. И все же Есенин уступил просьбам и начал читать первую сцену именно из “Страны негодяев”:

З а м а р а ш к и н:

Слушай, Чекистов!..

С каких это пор

Ты стал иностранец?

Я знаю, что ты

Настоящий жид.

Ругаешься ты, как ярославский вор.

Фамилия твоя Лейбман,
И черт с тобой, что ты жил
За границей. . .
Все равно в Могилеве твой дом.

Ч е к и с т о в :

Ха-ха!
Ты обозвал меня жидом?
Нет, Замарашкин!
Я гражданин из Веймара
И приехал сюда не как еврей,
А как обладающий даром
Укрощать дураков и зверей.
Я ругаюсь и буду упорно
Проклинать вас хоть тысячи лет,
Потому что. . .
Потому что хочу в уборную,
А уборных в России нет.
Странный и смешной вы народ!
Жили весь век свой нищими
И строили храмы Божие. . .
Да я б их давным-давно
Перестроил в места отхожие.
Ха-ха!
Что скажешь, Замарашкин?
Ну?
Или тебе обидно,
Что ругают твою страну?
Бедный! Бедный Замарашкин. . .

З а м а р а ш к и н

Черт-те что ты городишь, Чекистов!

Посыл был абсолютно по адресу — по адресу собравшихся еврейских трюкистов, обосновавшихся в Америке, — с четким одновременным отсылком к отечественным “чекистовым” и главному прототипу “комиссара железнодорожной линии” — кровавому наркомвоенмору. Перечитывая ныне этот диалог, ловишь себя на мысли о настоящем пророчестве поэта — не только в области исторических реалий, но и в отношении будущих персонажей: слишком узнаваемы реплики “комиссара” в устах иных нынешних политических деятелей. “Или тебе обидно, что ругают твою страну? Бедный, бедный Замарашкин. . .”

А тогда — тогда собравшиеся все прекрасно поняли и отреагировали на “оскорбление” своего кумира соответственно. “Оказавшись в стороне от четы Есениных, я услышал, как стоявший у камина человек среднего роста в черном пиджаке повторил несколько раз Файнбергу, угощавшему вином из бутылки:

— Подлейте ему, подлейте еще. . .

Позже я узнал этого человека, автора нескольких пьес и романов — ему хотелось увидеть Есенина в разгоряченном состоянии. . .” Своего эта компания в конце концов добилась: “И огромная неожиданная толпа, которая пришла глазеть на них, и невозможность высказать все, что хотелось, и вольное обращение мужнин с его Изадорой, и такое же обращение женщин с ним самим, а главное — вино. . .” Вино все же было не главным — оно лишь сыграло роль спускового крючка. Главным было отношение окружающих, что, наконец, и подтвердил Вениамин Левин, говоря о последствиях происшедшего скандала: “Назавтра во многих американских газетах появились статьи с описанием скандального поведения русского поэта-большевика, “избивавшего свою жену-американку, знаменитую танцовщицу Дункан”. Все было как будто правдой и в то же время неправдой. Есенин был представлен “антисемитом и большевиком”. . . Стало ясно, что в частном доме поэта Мани-Лейба на “вечеринке поэтов” присутствовали представители печати — они-то и предали

“гласности” всю эту пьяную историю...” Любой наш современник, зная нравы и отечественной, и зарубежной “желтой прессы”, может подтвердить: ничего с тех пор не изменилось.

Но у авторов “Биографии” свое, “добросовестное”, видение ситуации: “Впрочем, продажность западной прессы здесь ни при чем. Просто постепенно, и именно в Америке, есенинские скандалы приобретали все более неконтролируемый, клинический характер – американские газетчики и не думали этого скрывать” (с. 456).

Из всего левинского описания “вечеринки” О. Лекманов и М. Свердлов используют лишь картину непосредственного скандала, в результате чего необратимо искажается вся причинно-следственная связь. Точнее, она даже не искажается – просто конкретная сцена изымается из своего естественного контекста, после чего уже нетрудно представить поэта, одержимого “демонами неврастении и шизофрении”, “всевозможными маниями и фобиями”. Но самое главное: причины происшедшего – сцены из “Страны негодяев” – как будто нет в природе. Разговор об этом произведении у авторов “Биографии” отсутствует как таковой – лишь название драматической поэмы единственный раз упоминается в более чем шестистотстраничном томе.

Указание Н. Шубниковой-Гусевой на эту, с позволения сказать, “лакуну” вызвало у наших авторов какую-то совершенно неадекватную реакцию: “Ну а в связи со “Страной негодяев” (и другими поздними опытами вроде “Песни о великом походе” и “Поэмы о ЗБ”) напомним: наша книга не относится к жанру “жизнь и творчество”, требующему монографического разбора всех крупных произведений поэта. “Биография” гораздо свободнее в выборе, оставляя возможность не останавливаться на неудачных или тупиковых (по нашему мнению) произведениях”.

Уже одно это признание ставит крест на всех разговорах о “добросовестности” разбираемой книги. Прежде всего: “Страну негодяев” невозможно ставить в один ряд с “Песней о великом походе” и “Поэмой о ЗБ” – и это подтвердит любой более-менее квалифицированный литературовед. Далее: одно из центральных произведений поэта, – пьеса, каждая строчка которой и сегодня буквально жгёт пальцы, – не может быть столь снобистски проигнорировано, тем более, что сам Есенин работал над ним до последнего дня, и уже по определению не мог считать его своей “неудачей”. Кстати, не худо бы выяснить, куда сами авторы относят “Страну негодяев”: к “неудаче” или к “тупику”? Все же здесь есть существенная разница. И если это, по их мнению, “тупик”, то о какой “добросовестности” можно вообще говорить?

Но – попытаемся. Дальше. Всё о той же добросовестности. О которой, судя по всему, должна свидетельствовать цитационная и ссылочная дотошность М. Свердлова и О. Лекманова. Вы еще не забыли обвинение Есенина в воровстве, когда представляется самый, по мнению биографов, надежный “свидетель” сего деяния – Мэри Дести, свидетельство которой должен был подкрепить (“см.”) английский исследователь Гордон Маквэй? Осуществляем действие “см.” – открываем соответствующую страницу книги Гордона Маквэя “Isadora and Esenin” в ожидании найти еще одно свидетельство другого человека, полицейский протокол, в конце концов, газетное сообщение со ссылкой на еще одного-двух свидетелей... Не обнаруживаем ничего подобного. Маквэй ссылается на ту же Мэри Дести, то есть попросту верит ей на слово.

Кто же такая Мэри Дести? И вот тут добросовестнее всего, на мой взгляд, привести мнение, как мне представляется в данном случае, достаточно компетентного человека, ссылающегося на современников той, отдаленной от нас эпохи.

В 1995 году в русском переводе вышла в свет книга Ирмы Дункан и Аллана Росс Макдугалла “Русские дни Айседоры Дункан и ее последние годы во Франции” (она многозначительно отсутствует в “избранной библиографии” к книге О. Лекманова и М. Свердлова, хотя в тексте они дважды приводят цитаты из нее – то есть с самой книгой наши биографы знакомы). Ожидать знания и понимания личности и поэзии Есенина от авторов не приходится – и здесь к ним не может быть никаких претензий (страницы, посвященные Есенину, преимущественно заполнены цитатами из того же Анатолия Мариенгофа), но портрет Изадоры, написанный ими, представляет собой большой интерес. Книгу предваряет вступление переводчика Г. Г. Лахути, в котором написано буквально следующее:

“Велика литература об Айседоре Дункан на английском языке. Однако “советский период” ее жизни и там освещен недостаточно полно, а во многих источниках изобилует неточностями и даже “развесистой клюквой”. Особенно это относится к вышедшей в 1929 году в Нью-Йорке книге Мэри Дести “Нерассказанная история. Жизнь Айседоры Дункан в 1921–1927 гг.”. Женщина ограниченная и склонная к безудержной рекламе и фантазированию, занимавшая в течение недолгого времени скромную должность компаньонки при Айседоре, она написала свою версию последних лет ее жизни, прямо-таки переполненную недостоверными и полумифическими историями. По Дести выходит, что она сама танцевала ничуть не хуже Айседоры и оставила это занятие, только чтобы не вызывать ревности и зависти последней; что вообще танцевать босиком придумала она; что Айседора хотела и чуть ли не завещала ей свою неоконченную автобиографию; что ей, Дести, был устроен триумфальный прием в московской школе Дункан, куда она зашла во время своего краткого визита в Москву после смерти Айседоры, причем все ученицы якобы уверяли, что она похожа на Айседору, и смотрели на нее с обожанием. Все эти утверждения являются абсурдным вымыслом, а последнее вызвало дружный хохот очевидцев визита в школу учениц Ирмы – уже упоминавшейся Е. В. Терентьевой и Е. Н. Федоровской. Даже американское турне Ирмы с ученицами устроил, оказывается, не Сол Юрок, а опять же вездесущая Мэри! Телеграмму, посланную Айседоре в Ялту из Москвы Галиной Бениславской, она приписывает С. А. Толстой... и т. д. и т. д.

И вот эту книгу, единодушно признанную недостоверной и ни разу по этой причине не переиздававшуюся на Западе, Издательство политической литературы в Москве (ныне издательство “Республика”) выпустило в 1992 году тиражом в 100 тысяч экземпляров под одной обложкой с третьим за последние два года переизданием книги А. Дункан “Моя жизнь”... Айседора не успела написать ни о России, ни о Есенине, и ее собственный текст в сборнике доходит только до ее намерения поехать в Россию в 1921 году. Пребывание же ее в России и отношения с Есениным даны только в более чем вольном пересказе Дести... Она воспроизводит по памяти устные рассказы Айседоры, приукрашивая их своими домыслами, так что получается “испорченный телефон”...

Можно ли верить данному человеку вообще, даже там, где он выставляет себя “живым свидетелем” или “очевидцем”? Ссылаться в каком бы то ни было контексте на этот “испорченный телефон”, на эту безудержную лгунью и фальсификаторшу – значит, потерять к себе всякое уважение, как к исследователю. Но, похоже, наши авторы своими ссылками преследовали вполне определенную цель.

... Волей-неволей хочется отойти на полшага в сторону и провести небольшую, достаточно отдаленную аналогию... Во втором томе “Записок об Анне Ахматовой” Лидии Чуковской приведена забавная сцена. Анна Андреевна слушает цитируемую ей “внутреннюю рецензию” некоего Ложечко: “Ритм обыкновенный, рифма нормальная, поэтика на среднем уровне”... У Ахматовой искажается лицо, следует удар кулаком по столу, а вслед за ударом – красноречивая реплика:

– Это бандит! Это бандитизм!

Обрадованная ахматовской реакцией Чуковская пишет, что “Ложечко надо лишить права рецензировать рукописи за эту одну-единственную фразу”.

Я вспомнил эту несколько комичную сцену, в которой реакция двух писательниц на достаточно безобидного, безграмотного рецензента может показаться несколько неадекватной... И подумал о том, что приемы, применяемые О. Лекмановым и М. Свердловым, могут вполне быть квалифицированы с этой точки зрения как если не литературный бандитизм, то как ярко выраженное литературное жульничество.

* * *

Неустанные “разоблачения” Есенина авторами “Биографии” их самих заводят в безнадежный тупик. Честно говоря, читая иные пассажи книги, проникаешься невольным чувством жалости к биографам, чувством, смешанным с ощущением какого-то трагикомизма происходящего.

“Не только поэтика символизма, но и символистская концепция жизнестроительства уже оказывает существенное воздействие на молодого Есенина. Едва ли не впервые он всерьез задумывается о своем внешнем облике: теперь он хочет выглядеть *поэтом деревенской Руси*” (с. 55). Далее, со ссылками опять же на многочисленных мемуаристов, рисуется картина есенинского переодевания из “коричневого костюма” не то в “подержанную деревенскую поддевку”, не то в “крестьянскую рубашку” (с. 55–56). Здесь естественнее всего было бы вспомнить, что инициатором “костюмированного переодевания” Есенина был Сергей Городецкий – сам неустанный стилизатор и “жизнестроитель”... Но наших авторов не проведешь. В их интерпретации есенинская “стратегия” начинается аж в 1914 году.

“О том, что все эти переодевания были не случайными, а входили в продуманную есенинскую стратегию поиска своего образа, непровержимо свидетельствуют строки из письма Есенина к Марии Бальзамовой от 29 декабря 1914 года. Это юношеское письмо выглядит тем не менее как прозаический набросок к предсмертному есенинскому “Черному человеку”. Прямо называя своим жизненным руководителем поэта-символиста Федора Сологуба, Есенин с удивительной откровенностью, хоть и несколько рисуясь, обнажает перед Бальзамовой едва ли не основное свойство собственной личности: отсутствие подлинного нравственного стержня, позволяющее примерить на себя любые маски в стремлении во что бы то ни стало полнее и эффективнее выявить разнообразные грани своего таланта...” Далее следует цитата из письма, не оставляющая сама по себе камня на камне от этих глубокомысленных умозаключений: “Мое я – это позор личности, – пишет Есенин Бальзамовой. – Я выдохся, изолгался и, можно даже с успехом говорить, похоронил или продаю душу черту, и все за талант. Если я поймаю и буду обладать намеченным мною талантом, то он будет у самого подлого и ничтожного человека – у меня ... /.../”

*Хулу над миром я поставлю
И соблазняя — соблазню.*

Эта сологубовщина – мой девиз” (с. 56–57).

Думаешь с горьким смехом: да кто из нас в юности, неизбежно рисуясь, не писал подобных писем?! При чем здесь “Черный человек”? Тянуть к нему канат от этого юношеского письма – значит, безбожно фальсифицировать всю есенинскую творческую эволюцию. Цитировать, что “эта сологубовщина – мой девиз”, и комментировать эту цитату фразой “прямо называя своим жизненным руководителем поэта-символиста Федора Сологуба” – значит, не видеть или не желать видеть злой иронии Есенина над самим же Сологубом... И тут же следует тактический ход биографов: шаг вперед – два шага назад. “Не нужно, впрочем, забывать, что и к этому признанию следует отнестись с определенной осторожностью, как к о ч е р е д н о м у (выделено мной. – С. К.) есенинскому актерскому монологу” ... Дескать, мы – не мы и лошадь не наша, понимайте, как знаете. А далее – еще одна оговорка, указывающая на “органичные” есенинские черты, “неизменно притягивающие к Есенину союзников и просто сочувствующих” (с. 57).

Только что значат все эти отступления и оговорки по сравнению с главным тезисом, подчеркнутым, можно сказать, жирной чертой: “отсутствие подлинного нравственного стержня”? Тем более что в “ответе” Н. Шубниковой-Гусевой авторы настаивают на нем, как на одном из “китов”, на которых базируется их “Биография”. “Есенин – “профессиональный шармер” – одна из основных тем книги”. Неправда – это побочная тема, оттеняющая четыре основных: “сила есенинской поэзии”, “обаяние его личности” “отсутствие у него нравственного стержня”, “трагедия поэта”...” При том, что сами же приводят в книге текст письма Есенина к Анне Сардановской от июля 1916 года, в котором содержатся следующие, никак не комментируемые авторами строки: “Прости, если груб был с тобой, это напускное, ведь главное-то стержень, о котором ты хочешь маленькое, но имеешь представление” (с. 128).

Между прочим, содержание эти строки отталкиваются от строк письма Александра Блока Сергею Есенину от 22 апреля 1915 года: “...Путь Вам, может быть, предстоит не короткий, и, чтобы с него не сбиться, надо не торо-

питься, не нервничать. За каждый шаг свой рано или поздно придется дать ответ, а шагать теперь трудно, в литературе, пожалуй, всего труднее. Я все это не для прописи Вам хочу сказать, а от души; сам знаю, как трудно ходить, чтобы ветер не унес и чтобы болото не затянуло. . .” Это письмо Блока авторы приводят, опять же никак не комментируя, на с. 86, а на с. 370, “вспомнив” (их слова!) “улыбку больного умирающего Блока”, квалифицируют ее как свидетельство того, что “вывод сделан: Есенин уже за “недозволенной чертой”, его уже “затянуло болото”. . . И нет ни малейшего понимания (или аккуратно создается видимость этого “непонимания”), что в предсмертии 1921 года Блок уже отстранился от всего, прощаясь этой улыбкой со всей земной юдолью.

Итак, если слушать наших биографов, Есенин – человек, лишенный нравственного стержня. При этом чудовищный славолуб и, если угодно, гениальный стратег в выстраивании своего пути ради добычи этой самой славы (интересно, как одно может совмещаться с другим: стратег без твердого внутреннего стержня – не стратег). Доходит в полном смысле этого слова до анекдота. “Трудно предположить, что Есенин к началу марта 1915 года ничего не знал о клюевских контактах с Блоком: судьбой Клюева он, без сомнения, интересовался живо и ревниво” (с. 66). Где доказательства, где фактические подтверждения такого, если угодно, глобального стратегического сценария по проникновению в дом Блока следом за Клюевым? Одно-единственное: перефразировка строк Клюева в письме к Александру Ширяевцу. При том, что о знакомстве Есенина со стихами Клюева до есенинского приезда в Петроград писали не один десяток раз, на протяжении многих лет, не делая, естественно, из этого общеизвестного факта никаких смехотворных выводов. А то можно подумать, что Есенин какими-то таинственными путями вызнавал “тайну” переписки Блока и Клюева, добывал сведения об их встречах через третьих лиц и подстраивал под узнанное свои “славолубивые” планы.

Скажите, утрирую? А вы перечитайте еще раз эту замечательную фразу О. Лекманова и М. Свердлова (или кого-то одного из них) и скажите – какой можно извлечь из нее смысл?

А что касается “поэтики символизма”, то никто никогда не отрицал, что на первых порах Есенин испытал сильное влияние Блока – и сам писал о “благом косноязычии символизма” (хотя влияние Клюева было неизмеримо сильнее). . . Только не стоит здесь тенденциозно смещать акценты и – не стоит ли прислушаться к тому же Есенину, говорившему впоследствии:

“... Я этот “символизм” еще в школе мальчишкой постиг. И знаешь откуда? Из Библии. Школу я кончал церковноприходскую (на самом деле учительскую – но в ней преподавались закон Божий, церковная общая и русская история, церковное пение и, между прочим, как отдельный предмет – история раскола. – С. К.), и нас там этой Библией как кашей кормили. И какая прекрасная книжища, если ее глазами поэта прочесть! Мне понравилось, что там все так громадно и ни на что другое в жизни не похоже. Было мне лет двенадцать – и я все думал: вот бы стать пророком и говорить такие слова, чтобы было и страшно, и непонятно, и за душу брало. Я из Исайи целые страницы наизусть знал. Вот откуда мой “символизм”. Он у меня своим горбом нажит”.

А что касается общения со старшими символистами, то не следовало бы передергивать, утверждая, что “статьей Гиппиус о себе в “Голосе жизни” Есенин тогда явно гордился” (с. 79), и, цитируя Рюрика Ивнева, писавшего, что Мережковский и Гиппиус были “очарованы и покорены есенинской музой”, заключать, что якобы “это очарование, без сомнения, было взаимным” (с. 80). Никакой “очарованности” Есениным нет ни в статье Гиппиус, ни в ее позднейших воспоминаниях о нем. Что касается Есенина, то его дарственная надпись “гиппиусихе” “Доброй, но проборчивой. . .”, цитируемая биографами – не более чем знак дистанционного уважения к старшей и не противоречит по сути его словам, запомненным Владимиром Чернявским: “Глупая статья. Она меня, как вещь, ощупывает”. Не стоило ли привести здесь красноречивую цитату из письма Есенина к Н. Ливкину от 12 августа 1916 года: “Я знал, что перепечатка стихов немного нечестность, но в то время я голодал, как может быть, никогда, мне приходилось питаться на 3–2 коп. Тогда, когда вдруг около меня поднялся шум, когда мерещковские, гиппиус и Философов открыли мне свое чистилище и начали трубить обо мне, разве я, ночующий в ночлежке по вокзалам, не мог не перепечатать стихи, уже употр/ебленные/? Я был горд в своем скитании, то, что мне предлагали, я отпихивал. Я имел право просто

взять любого из них за горло, и взять просто сколько мне нужно из их кошельков. Но я презирал их и с деньгами, и с всем, что в них есть, и считал поганым прикоснуться до них. Поэтому решил перепечатать просто стихи старые, которые для них все равно были неизвестны. Это было в их глазах, или могло быть, тоже некоторым воровством, но в моих ничуть...” Именно эти обстоятельства жизни Есенина в Петрограде авторы “Биографии” блистательно проигнорировали. И уж тем более не стоило им придумывать несуществующего: “Имея на руках рекомендательные письма от Городецкого, Мурашева и Мережковских, Есенин предпринял стремительный рейд по редакциям петроградских литературных журналов и газет” (с. 80). Где, хотелось бы знать, эти “рекомендательные письма от... Мережковских”? Существуют ли они вообще? Их не было и быть не могло.

* * *

Авторы прилагают массу усилий, дабы представить Есенина вечным актером, меняющем на протяжении всей своей жизни маски и амплуа. “Есенин взялся играть сразу несколько поэтических ролей, но никакую не превратил в целостный образ” (с. 50). “К роли пролетарского поэта-трибуна Есенина подталкивала прежде всего работа у Сытина” (там же). “Образ поэта-крестьянина, ненавистника города, певца сельских радостей и сельских невзгод с особым усердием отыгрывается Есениным в 1913–1915 годах” (с. 51). “К этому времени Есенин окончательно выбрал для себя амплуа крестьянского самородка, интуитивно заговорившего на языке младосимволистов, отбросив другие, полусыгранные в Москве роли” (с. 61). “...Избрав определенный стиль поведения со своими новыми друзьями, Есенин продолжал отчасти лукавить...” (с. 83). “...Есенин, верный своему обычаю, и в этот период стремился не ограничивать себя единственной, пусть и на “ура” воспринимаемой ролью” (с. 94). Само собой, в ранних стихах Есенина они обнаруживают “лубочное псевдославянское стилизаторство” (с. 108), но не явно, а по принципу контраста: дескать, этого “стилизаторства” уже не было в стихотворении “Лисица”. А раньше, в предыдущих стихотворениях – где они его нашли?

И далее – в том же духе: “Еще не выйдя полностью из роли *Ивана-царевича*, Есенин принялся работать над своим новым образом, заимствованным, впрочем, все из того же “народного” репертуара, только не из сказки, а из разбойничьей песни. Поздней зимой и ранней весной 1916 года поэт впервые основательно примерил на себя маску *ухаря-разбойника*” (с. 119). К слову сказать, стихотворение “В том краю, где желтая крапива...”, цитируемое на этой же странице, было написано в 1915-м, и речь здесь в применении к Есенину должна была идти не о “смене масок”, а о духовной и душевной, внутренней эволюции, о расширении творческого мира, об овладении новым жизненным материалом – и это процесс органичный и мучительный одновременно. Но наши биографы знают этого не хотят и дуют в свою дуду: “Он словно пробовал на язык броские бодлеровские характеристики “падаль и гниль”, которым скоро предстояло прочно войти в есенинский поэтический обиход” (с. 128). Насколько прочно? Сколько раз эти слова повторяются в есенинских стихах? И неужели поэт не имел о них понятия без всякого Бодлера? “...Есенин не высказывал никакого неудовольствия или протеста в связи со своей ролью обласканного двором “поэта-самородка” (с. 139). Неужели? А как быть с письмом М. Мурашеву: “...Клюев со мной не поехал, и я не знаю, для какого он вида затаскивал меня в свою политику”? Проще всего сделать вид, что неизвестно, о какой политике речь – а ведь здесь завязывается самый сложный и драматичнейший узел, в котором скручиваются интересы и княгини Елизаветы Федоровны, и полковника Ломана, и князя Путятина... Но до реальной истории, до окружающей Есенина жизни авторам нет никакого дела. “Ведь как раз Есенин начиная с марта 1917 года будет настойчиво добиваться, чтобы его воспринимали в бунтарском ореоле” (с. 144).

И так, по сути, до конца книги. И, конечно, разговор о “революционном Есенине” не может обойтись без мемуарной статьи Ходасевича. То, что религиозный пафос Есенина был органически сопряжен с религиозным пафосом самой революции, для наших биографов – тайна за семью замками. Проще всего все объяснить Ходасевичем: “Говорить о *христианстве* Есенина было бы

рискованно. У него христианство не содержание, а форма, и употребление христианской терминологии приближается к литературному приему” (с. 157). “Но возникает вопрос, — комментируют Лекманов и Свердлов, — а не является ли “формой” и не “приближается” ли “к литературному приему” также и есенинский языческий, мужицкий миф?” А дальше — великолепный проговор: “Об этом многое, наверное, могли бы поведать филологи формальной школы, вооружившись своими излюбленными терминами, такими как “мотивировка”, “искусство как прием”, “обострение материала”. Увы, формалисты явно недооценили внутреннего поэта: кто только не вдохновлял их на смелые концепции, вплоть до есенинского эпигона Василия Казина, но никак не сам Есенин” (с. 158). Да потому и “не оценили”, потому и “не поведали”, что он оказался этим книжным людям, более всего склонным заниматься “изучением не столько литературы как таковой, сколько вырастающей на ее почве литературной моды” (В. В. Кожин), не по зубам. Они понимали, в отличие от Свердлова и Лекманова (“А ведь именно Есенину парадоксы опоязовцев были бы как раз впору, в его творчестве и биографии они могли бы найти замечательное — и вовсе не тривиальное — подтверждение современности формального метода” — с. 159), что их инструментарий здесь окажется бессилён. Попробовали бы подойти они с ним к той же “Инонии” — тектоническому сдвигу в есенинском мироощущении, попробовали бы проанализировать эту вещь в контексте глубинной полемики с клюевской “Песней Солнценовца”... Проще всего опять же “разоблачить” поэта, как это делают наши биографы: “В своем письме Есенин с яростью оспаривает значение Клюева, с пояснением: “Говорю Вам это не из ущемления “первенством” Солнценовца и моим “созвучно вторит...” (с. 173). Цитата обрывается, и читатель “Биографии” уже не в состоянии прочесть следующую: “...а из истинной обиды за Слово, которое не золотится, а проклевывается из самого себя птенцом...” Ибо речь идет о самозарождении того Слова, что “было у Бога и было Бог”, и сходит в новый мир, когда “прежнее небо и прежняя земля миновали”... Что до этого нашим авторам! У них свое: “...Гораздо труднее поверить этой оговорке, чем той гиперболе, с которой начинается “Инония”... Не “мы... подходим”, а “я пришел”, настало не “наше время”, а “мое” — вот под каким знаменем отныне ведет Есенин свою литературную борьбу” (с. 173). А вы поверьте, господа хорошие! Может, что и откроется!

Представлять дело таким образом, что “революция была необходима Есенину как поэту для “борьбы за литературную власть” и создания “нужной писательской атмосферы” (с. 159), значит необратимо исказить и путь Есенина, и суть самой эпохи, в которую он жил. То есть подменяет живую реальность искусственной субреальностью. Неоценимый, конечно, здесь материал для наших биографов — приключения имажинистов. Если предыдущий текст лишь “раскручивался”, то в “главе седьмой” он начинает “лететь”. Литературной борьбой, литературными счетами подменяется все. Нет ни гражданской войны, ни голода, ни мятежей, ни крестьянского восстания на Тамбовщине, ни переживания Есениным всего происходящего. А есть “Есенин-щеголь, Есенин-остроумец и Есенин-плут”, который даже “в этих ампулах... всякий раз оставался вторым” (с. 241). То, что не славы он добивался, если опять же перейти от “жизни” к “поэзии”, а еще большего “раздвигания зрения над словом”, совершенствования воплощения тайны мира в слове (“слову с тайной не обняться” — вот что было настоящей причиной его “тоски”) — авторы знать не хотят. И уже не приходится удивляться, что в “Сорокоусте” “добросовестных” биографов “поражает... даже не столько “непечатность” крепких выражений, сколько их внезапность и немотивированная агрессивность” (с. 247). Жизнь самой России того времени для них просто не существует — как тут не сделать вывод о “немотивированности” ругательств, по которым в начальных строфах авторы аккуратно проходятся, оставляя весь смысл этой небольшой трагической поэмы “за кадром”... Кстати, могли бы сопоставить цитируемые строчки “Вы, любители песенных блох, не хотите ль пососать у мерина” с посвящением “Сорокоуста” Мариенгофу, который в этом контексте и оказывается “любителем песенных блох”... Тут хочешь, не хочешь, а вспомнишь написанное о Есенине Юрием Домбровским:

“... Я бы близко не подпускал к нему некоторых его друзей, этих чудовищных снобов, которые, одурев от тщеславия, солнце хотели заменить клизмой с розовым лекарством, между “мочой” и “зарей” ставили знак равенства и

выдавали это за внутреннюю покорность творческому закону... Так нагло, так хамски изъяснялись перед всем миром — и это когда! Надо бы драть нещадно за уши тех, кто в тяжелые часы Родины с милой непосредственностью предлагается хохмочкам и высасывает из пальца новые формы”.

Но у наших авторов Есенин никак не выделяется из сообщества “чудовищных снобов”, более того, начальные строки “Сорокоуста” на с. 247 тут же сопоставляются с отвратнейшей “продукцией” Шершеневича, которую я просто не хочу цитировать... Сам же Есенин, оказывается, “начинает браниться с ходу без видимого повода” (с. 248). Надо же, какой хулиган! Значит, туда ему и дорога... “Хулиганство Есенина, таким образом, выламывалось из практики тогдашнего литературного эпатажа: оно было до того “подлинным” (кавычки хороши, не правда ли? — С. К.), до того “черноземным”, что ассоциировалось с хроникой происшествия и милицейским протоколом” (там же). И нет ни поездки Есенина в Ташкент, ни его встреч и бесед с Александром Ширяевцем, ни принципиальнейшего письма к Иванову-Разумнику от мая 1921 года. Есть многостраничные рассуждения о том, чем имажинисты отличались от футуристов, и, само собой разумеется, нет никакого разговора о статье “Быт и искусство”, которую, очевидно, авторы считают то ли “неудачей”, то ли “тупиком”. А к месту было бы процитировать:

“У собратьев моих нет чувства родины во всем широком смысле этого слова, поэтому у них так и не согласовано все. Поэтому они так и любят тот диссонанс, который впитали в себя с удушливыми парами шутовского кривляния ради самого кривляния”.

Или это тоже “немотивированная агрессивность”?

Там же, где речь заходит о “Пугачеве”, мы сталкиваемся, в общем-то, с ожидаемым:

“Есенинская драма — это апофеоз театрализованного стиха. Подобно Маяковскому с его трагедией, Есенин мог бы назвать “Пугачева” своим именем, но и без этого здесь в одном лице соединились — автор, герой, актер” (с. 352).

На все подобные “глубокомысленные” и “добросовестные” умозаключения ответил сам Есенин еще при жизни в разговоре с Владимиром Кирилловым:

“Я сказал, что Пугачев говорит на имажинистском наречии и что Пугачев — это сам Есенин. Есенин обиделся и сказал: — Ты ничего не понимаешь, это действительно революционная вещь. — Говорил он очень характерно, подчеркивая слова замедлением их произношения”. Подчеркивал — революционность мировоззренческую, поэтическую, театральную. И ясно дал понять, что не нацеплял он на себя в этой трагедии никаких “масок” и не подменял героев собой.

Ну да наших биографов не проведешь! Весь пафос их биографического сочинения в том, что не Есенин владел своим талантом, а талант владел им, “человеком без стержня”, и влек его за собой в пропасть — к милицейскому протоколу и дальше: “. . . С каждым годом есенинская внутренняя природа, ну-тро, все больше будет подражать его стихам, все ближе будет к их “нервическому вывиху”, к их “висельному” пафосу...” (с. 372).

Ничего удивительного и в том, как Лекманов и Свердлов подают историю с “делом четырех поэтов”. Само собой разумеется, главный виновник происшедшего — Клюев, а главные свидетельницы — Галина Бениславская и Анна Назарова. Впрочем, “вспышка есенинского антисемитизма была инициирована общением не только с Клюевым, но и с другими крестьянскими поэтами” (с. 480). Об этом же писал в своей мемуарной книге “Все, что помню о Есенине” и Матвей Ройзман, на которого авторы многократно ссылаются на протяжении “Биографии” и чей мемуар в свое время подвергся жесткому, основательному и доказательному разгрому со стороны В. В. Базанова (“Свидетельство очевидца и память истории”, “Русская литература” № 1, 1976) за те же передергивания, ложь и элементарное дремучее невежество.

“Некоторые защитники репутации Есенина совершенно напрасно пытаются представить Родкина лжецом и доказать, что никакой антисемитской подоплеки в деле четырех поэтов не было...” (с. 482). Положим даже, что была — но в чем ее причина? В “нашептываниях” Клюева? Интересно — кто кому и что “нашептывал” в рабочей, крестьянской, интеллигентской, духовной среде в этот же период, когда в ГПУ пачками, томами, ящиками стекались доносы

“о проявлениях антисемитизма”?.. С минимальным, очевидно, числом подобных донесений авторы могли бы ознакомиться, открыв один из сборников серии “Неизвестная Россия”. Как мог бы ознакомиться с ними и Валерий Шубинский, охарактеризовавший в своей статье “Битва мифов” (“Новое литературное обозрение” № 1, 2008) “Биографию”, как “не просто лучшую биографию Есенина, но, возможно, лучшее из того, что вообще было написано о поэте”. Нашей биографии, вышедшей в серии ЖЗЛ к тому времени пятью изданиями (не считая других выпусков), он посвятил две колонки журнального текста, из которых одна – целиком о “еврейском вопросе” (как заклинито!), да еще с утверждением: “Разумеется, “дело четырех поэтов”... вырастает чуть ли не в главный эпизод есенинской биографии” (сущее вранье! “Делу четырех поэтов” уделено в общей сложности с описаниями всех последствий 14 страниц из 70, составляющих одну главу из двенадцати – “Роковой вопрос”, то есть 14 из 590 страниц всей книги). Более того, намеки Шубинского приобретают весьма интересные оттенки, чуть ли не на грани криминальных: “Для Куняевых, в силу их собственных взглядов, невозможно объяснить слова Есенина: “... зачем в русскую литературу лезут еврейские и другие национальные литераторы, в то время когда мы, русские литераторы, зная лучший язык и быт своего народа, можем правильно отражать революционный опыт” – проявлением случайного настроения, а нетрезвые крики про “жидов” – симптомом душевной болезни. Для них это сознательная (и правильная) и идеологическая демонстрация”. Прежде всего, для нас это “дело” было эпизодом, который существует не сам по себе, а в контексте времени, в атмосфере эпохи, в прямой связи с происходящими событиями – от беседы Есенина с Троцким в Кремле и до раскрытия “заговора русских фашистов” во главе с Алексеем Ганиным. Исторического контекста, ни в данном случае, как мы убедились, ни в других не существует ни для Лекманова со Свердловым, ни для Шубинского. Проще всего списать происшедшее на “случайное настроение” и “душевную болезнь”*.

Между прочим, наши “добросовестные” биографы могли бы повнимательнее отнестись к воспоминаниям Анны Назаровой, которая начинает свои описания с мучений, испытанных при тщетных попытках получить для Есенина хотя бы одну комнату в это же время в Москве – как постоянную жилплощадь. “... Зачислить в очередь на ноябрь”. Я была в сентябре. Я начала воз-

* К вопросу о квалификации самого Шубинского. В статье “Битва мифов” он раздаёт безоговорочные оценки не только книгам о Есенине, но и книгам, посвящённым Николаю Клюеву, в контексте рассуждений об исследовательской традиции или “антитрадиции” (в литературе о Есенине – он убеждён – сложилась “антитрадиция”, порождённая “ненужной “народной” славой”)... Сам же взялся писать предисловие к “Избранному” Клюева, вышедшему в издательстве “ОГИ” в 2009 году. И что же мы в нём читаем? “Чем, собственно, занимался поэт до 23-летнего возраста, когда началась его литературная деятельность, толком неизвестно”. 23 года Клюеву исполнилось в 1907-м, первая публикация относится к 1904 году и, начиная с 1905-го, основные вехи клюевской биографии уже давно стали достоянием исследователей. Елена Добролюбова превращается у Шубинского в “Елизавету”. Вопреки утверждению нашего “знатока”, Брихничев не печатал статьи “Новый Хлестаков” ни в какой “Новой жизни” (которую Шубинский, очевидно, перепутал с “Новой землёй”), а распространял в списках по рукам. “Рождество избы” “знаток” лёгким движением пера (или “мыши”) превращает в некое “Рождение избы”. Не делал Клюев ничего, “чтобы избежать призыва” на 1-ю мировую войну – он был освобождён по состоянию здоровья. Никогда не ходил он “в сермяге” и не принадлежал ни к каким фантастическим “поэтам-модернистам из крестьян”. Не “учил” Клюев Есенина “циничным приёмам”, и не была Елизавета Феодоровна “настоятельница” Марфо-Мариинской обители. В РКП Клюев вступил не “в 1917 году”, а годом позже. Не “коллекционировал” он “областные слова” – языком, на котором писал стихи, владел с младенческих лет, ибо слышал вокруг себя эту живописную речь ежедневно. Нет у Клюева книги “Земля и поле” – есть книга “Изба и поле”. На странице 8 предисловия “знаток” вообще путает Клюева с Кузминым, а дальше сообщает о наличии поэмы “Повесть о великой матери” (на самом деле – “Песнь о великой матери”). Надо было умудриться не заметить имени Сергея Клычкова в стихотворении “Клеветникам искусства” и каким-то чудодейственным образом обнаружить клюевские публикации в “Известиях” и “Новом мире”, где поэту якобы “удалось напечатать халтурные “Стихи из колхоза”...” Во-первых, эти стихи – не халтура, во-вторых – напечатаны они были в журнале “Земля советская”. Колпашево невозможно назвать “деревней”, как это делает Шубинский... В общем, наш “эксперт” из “НЛО”, написав сие предисловие фактически “левой ногой”, сел в такую лужу, что, думается, потерял моральное право на какие-либо оценки историко-литературных трудов в будущем.

ражать и доказывать, что до ноября Е/сенин/ умрет от такой жизни. Сторговались на октябрь. Заплатила 100 т/ысяч/ и ушла. Прошел октябрь, и на все мои запросы, очень частые, получала один ответ: нет площади. А в это время в этом же районе — я знала 3-х лиц, получивших прекрасные комнаты, а нуждавшихся в них в 100 раз меньше, чем Е/сенин/. Но... они были “ответственные работники”, и для них площадь нашлась...”

Галина Бениславская сделала на полях приписку, что двумя из этих трех были некто Сергеев и Марцелл Рабинович, один из есенинских прихлебательей этого тяжелого полугода по возвращении поэта в Москву, пивший и гужевавшийся в компании за его счет... Можно только представить себе реакцию Есенина: для Рабиновича в Москве есть жилплощадь, а для него, русского поэта — нет (так и не было до конца жизни). Всего этого для Лекманова и Свердлова попросту нет в природе (хотя пишут “Биографию”, а не книгу, специально посвященную поэзии), также как не существует для них ключевых слов Есенина этого времени, сохраненных Галиной Бениславской: “Поймите, в моем доме не я хозяин, в мой дом я должен стучаться, и мне не открывают... Это им не простится, за это им отомстят. Пусть я буду жертвой, я должен быть жертвой за всех, за всех, кого не пускают. Не пускают, не хотят, ну так посмотрим. За меня все обозлятся. Это вам не фунт изюма. К-а-к еще обозлятся. А мы все злые, вы не знаете, как мы злы, если нам обижают. Не тронь, а то плохо будет. Буду кричать, буду, везде буду. Посадят — пусть сажают — еще хуже будет. Мы всегда ждем и терпим долго. Но не трожь. Не надо”. Это что — тоже “фобия” и “неврастения”? Или “мания преследования”? Или “притворство”? Или “поза”? Или — “прием”?

* * *

Справедливости ради надо сказать, что временами авторы меняют тон, словно забывая обо всех “масках” и “амплуа”, и начинают воздавать Есенину должное по-настоящему. “В Есенине удивительным образом сочетались почвенность (“песенно-есенинное” — “коренное”, “родовое”) и крылатость (“амурно-лировое” — “моцартовская стихия”); “балалаечник” на самом-то деле был русским Орфеем” (с. 345). “Есенин был одним из немногих в XX веке чистых лириков. В его стихах оживает слово “песнь”, восстанавливается исконное единство музыки и слова. Своей завораживающей властью над слушателями — прежде всего над слушателями, а затем над читателями — он напоминает мифологических “певцов”. От погруженности Есенина в эту древнюю стихию лиризма — отмеченная уже первыми рецензентами “слитность звука и значения” в его стихах, отсюда же — поражавшее современников есенинское единство песни и судьбы” (с. 585). Читаешь это — и непонятно, как относиться к данным высоким словесам. Как к притворству ради кажущейся “объективности”? Или авторы так думают на самом деле, и тогда им не остается ничего другого, как вышвырнуть вон из книги все страницы, заполненные описанием есенинского “притворства” и есенинских “амплуа” (и в поэзии, и в жизни)? Как совмещается одно с другим?

Самое интересное, что наши биографы, словно опытные мичуринцы, нашли способ “совмещения”. Как им показалось, они отыскали к Есенину самый надежный ключ, который на поверку скорее напоминает воровскую отмычку. “Ключом к тому периоду биографии Есенина, о котором пойдет речь в этой и следующей главах (речь идет о 1923–1925 годах. — С. К.), может послужить метафора, положенная в основу повести Р. Л. Стивенсона “Странная история доктора Джекила и мистера Хайда”... В мемуарах о Есенине, относящихся к 1923–1925 годам, многократно запечатлено почти волшебное превращение из “доктора Джекила” в “мистера Хайда” (с. 463–464).

При этом авторы, как на первоисточник, ссылаются на воспоминания А. Ветлугина, который, будучи прямым человеческим антиподом Есенина (о чем свидетельствует его письмо к поэту, написанное в 1923 году — и об этом письме в “Биографии” также ни слова!), неудачно пытается рассуждать о “развосьмерении личности, раздесятирении личности”, бросает свою “тему” и тут же перескакивает к другой: “Но в приложении к Есенину приходится говорить не столько о “Джекиле и Гайде”, сколько о предсмертном кошмаре Глеба Успенского”. И этот “кошмар” не имеет к Есенину никакого отношения.

Просто Ветлугин делал попытку раскрыть человеческий образ того, с кем общался на протяжении довольно продолжительного времени – но тщетно.

Никакой “тщеты” наши биографы здесь не испытывают. “Джекил и Хайд” путешествуют по дальнейшим страницам “Биографии” с завидным постоянством: где гениальный поэт – там “Джекил”, где “неврастеник”, “алкоголик”, “человек без нравственного стержня” – там “Хайд”. Уникальная способность Есенина в мгновение ока сбрасывать с себя “мрачную тень”, его удивительная внутренняя пластичность, умение гениально сыграть перед озлобленным, завистливым, ничего не понимающим “сообществом” безвольное существо, одурманенное алкогольными парами (при том, что алкоголь, действительно, временами употреблялся для сброса ежедневного адского внутреннего напряжения, единственная разрядка которого была в творческом процессе – и это оказывало свое губительное действие в силу определенных природных свойств есенинского организма) – все это, вместе взятое, представляющее собой сложный, многослойный, многодонный психологический портрет героя “Биографии”, оказывается нашим авторам не по зубам. Аналогией “Джекил-Хайд”, призванной разделить непреходимой чертой поэта и человека, авторы фактически расписываются в собственном бессилии, пытаются рассуждать о некоем “трагическом двойничестве” поэта. Здесь как раз в пору отнестись к ним самим упрек в “примитивизации на всех уровнях” – и человеческом и поэтическом, и историческом – который они попытались предьявить Н. И. Шубниковой-Гусевой.

Тем более что эта аналогия взята ими на самом деле не у А. Ветлугина, у которого она дана “в проброс”. На этой аналогии попытался выписать основательный портрет Павла Антокольского Василий Бетаки в книге “Русская поэзия за 30 лет, 1956–1986” (Orange, 1987). Но то, что было плохо применимо даже к Антокольскому, естественно, оказалось совершенно неприменимым к Есенину.

* * *

Само собой разумеется, что тайна гибели Есенина не является для О. Лекманова и М. Свердлова никакой тайной: все совершенно очевидно – самоубийство. “Ни в одном из хоть сколько-нибудь заслуживающих серьезного внимания свежих откликов на самоубийство Есенина, опубликованных в Советском Союзе и за рубежом в 1925 году, тема насильственной смерти поэта не поднималась: столь очевидными всем современникам, осведомленным и неосведомленным, представлялись главные обстоятельства есенинской гибели. Но и потом, вплоть до второй половины 1980-х годов, не только в советской подцензурной, но и в западной свободной печати о насильственном устранении Есенина никто не заговаривал” (с. 550). После столь категорического утверждения далее следует не менее категорическое: **“Почему заказ на убийство поэта был сделан лишь спустя шестьдесят лет после смерти Есенина, в горбачевскую эпоху? Потому что именно в те годы вышел на поверхность миф о заговоре против русского народа”** (там же. Здесь и далее выделено мной. – С. К.).

Интересно, кто “в горбачевскую эпоху” делал этот “заказ” – может быть, авторы знают и при случае назовут имя “заказчика”? Что понимают они под словами “миф о заговоре против русского народа”? Никакого “заговора”, соответственно, не было ни на протяжении всего XX века, ни на протяжении предыдущей истории? И ничего не вышло “на поверхность” ни в 1920-е, ни в 1930-е, ни в 1940-е годы? Какая-то странная, алогичная “логика”... А что касается “осведомленных и неосведомленных современников”, которым “все представлялось очевидным”: откуда ноты страха и недоумения в письме Ивана Касаткина к Ивану Вольнову: “У меня масса догадок о его конце. И ни одного реального. Тьма!” ... Откуда несогласие с официальной версией у Сергея Клычкова: “Я тут же по свежим следам обследовал сам это дело. Я нашел тогда человека, который вернулся в смежный с Есениным номер в 3 часа ночи... А Сергей не мог убить себя, не мог!” (по воспоминаниям Виктора Ардова)? Не правда ли, интересно? Особенно интересным может оказаться пока несуществующий ответ на вопрос: кто же этот таинственный человек, имени которого так и не назвал Клычков?

Теперь насчет того, что “в западной свободной печати о насильственном устранении Есенина никто не заговаривал”. Очевидно, авторы “Биографии”

не знакомы с книгой Михаила Бойкова “Люди советской тюрьмы”, изданной в Буэнос-Айресе в издательстве “Сеятель” в 1957 году. Среди многочисленных описаний хождений автора по мукам в застенках пятигорского и ставропольского НКВД есть и такой эпизод: в ставропольской тюрьме М. Бойков попадает в камеру “настоящих” — то есть настоящих “врагов народа”, теми или иными способами боровшихся против советской власти, теми, кто знал, за что они сидят, и пощады не ждавших. Среди “настоящих” были и так называемые “есенинцы”.

“Из всех “настоящих” наиболее симпатичны мне двое молодых русских ребят: Витя и Саша. Оба студенты второго курса Ставропольского педагогического института. Арестованы всего лишь две недели тому назад, и розовая свежесть их щек только слегка тронута сероватой тюремной желтизной, а юношеская бодрость и горячность не подавлена апатией и медленно-ленивым ступением заключенных.

Они дети кадровых рабочих местного маслобойного завода и бывших красных партизан гражданской войны, но советскую власть ненавидят, а своих отцов не любят.

— За что? — спросил я их.

— А за то, что эта проклятая власть вместе с нашими батьками довела до смерти Сережу, — ответил Витя.

— Какого?

— Есенина, — дополнил его ответ Саша.

— Но при чем здесь ваши отцы? — удивился я.

— Ну, как же. Они воевали за власть убийц Сережи, — сказал Саша.

— На свою голову, — бросил Витя...

В институте он руководил одним подпольным литературным кружком, а Саша был его ближайшим другом и помощником. Более 30 юношей и девушек, тайком от других студентов и своих родителей, изучали жизнь и творчество своего любимого поэта. Заучивали наизусть и декламировали его стихи и сами писали “под Есенина”. На тайных “читках” по квартирам и на прогулках в пригородных лесах горячо спорили о нем, искали и в большинстве случаев находили ответы на до того не разрешенные ими вопросы его жизни и творчества. Один из вопросов, больше всего вызывавший споров, ни никак не могли разрешить: покончил самоубийством или убит Сергей Есенин?

Некоторые приводили факты, подтверждающие самоубийство поэта, другие фактами же опровергали их и заявляли:

— Энкаведисты могут подделать любой факт.

День за днем накапливался в кружке антисоветский “литературный динамит” и, наконец, взорвался.

Преподаватель литературы, коммунист, читая на втором курсе института лекцию о Владимире Маяковском, помянул Есенина весьма недобрыми словами.

— Не позорьте нашего любимого поэта! — вскочил с места возмущенный Витя.

— Долой клеветников! — крикнул Саша.

Их поддержали “есенинцы”, которых в аудитории было десятка полтора. К последователям и последовательницам погибшего поэта присоединились и несколько студентов, не состоявших в кружке. Багровея от натуги, преподаватель литературы старался перекричать протестующую молодежь:

— Прекратите бунт! Или я вызову НКВД! Это антисоветская агитация!

— Агитация будет впереди! Вот слушайте, — подбежал к нему Саша и начал декламировать свое стихотворение, посвященное Есенину:

— Нас тоска твоя нынче гложет,
Как тебе, всем нам жить невесело.
Ты дошел до веревки, Сережа!..
А быть может, тебя повесили?..

Эти “контрреволюционные” слова привели в ужас преподавателя-коммуниста, и он, громко икнув от страха, выбежал из аудитории. Студенты и студентки, забаррикадировав столами входную дверь, продол-

жали “бунтовать”: демонстративно читали антисоветские стихи Есенина и свои, посвященные ему.

Через полчаса к педагогическому институту подкатило несколько “черных воронок”. Энкаведисты, взломав дверь, ворвались в аудиторию и всех находившихся там арестовали. Под прицелом винтовок их сковывали наручниками попарно, избивая при этом рукоятками наганов, отводили к автомобилям и вталкивали внутрь огромных черных кузовов...

Перед самым концом “ежовщины” Витя и Саша были расстреляны, а все остальные “есенинцы” приговорены к большим срокам заключения в концлагерях”.

Это к вопросу о том, как (утверждают наши биографы) “в мифологическом сознании по любому поводу разыгрывается борьба между силами света и тьмы” (с. 553). Можно подумать, что она вообще не разыгрывается в самой жизни! К ее “розыгрышу” авторы на протяжении всей книги прикасались не один десяток раз, но даже не попытались сделать надлежащие выводы. Не говоря уже о том, как “аккуратно” используются ими цитаты из буквально “кричащих” материалов. “. . .”Комсомольская правда”... продолжила и еще ужесточила курс на вытеснение Есенина из советской литературы, начатый статьями Сосновского. . . Как это часто случалось и раньше и будет случаться впоследствии, методы поверженного идеологического противника легко брались на вооружение и использовались даже тогда, когда само его имя становилось неудобным для упоминания”, – так биографы комментируют выдержку из статьи Д. Бухарцева “Где Хавронья” (с. 573). В этой статье, между прочим, за 10 лет до ареста “есенинцев”, которых описывает М. Бойков, автор “Комсомолки” описывал диспут о “есенинщине” в клубе 2-го МГУ и выступление на нем студента географического факультета Беркова. Выдержки из его выступления на самом диспуте и на другом собрании (опять “ненужные жизненные реалии”) наши биографы проигнорировали, а они – самое интересное, что есть в этой статье.

“Занимайтесь в “Комсомольской правде”, – иронизировал Берков, – китайскими делами и оставьте литературу в покое”.

Знал ведь, что говорил, молодой человек – и дело ведь говорил. Видел он собственными глазами этих грозных комсомольцев, потрясавших текстами Бухарина и Сосновского (прекрасно в 1927 году упоминаемого, без малейших “неудобств”), чей художественный вкус по сути ничем не отличался от художественного вкуса заурядного нэпмана.

Но Бухарцев продолжал свое:

“Нэпман тоже хочет жить. Он хочет усладиться патриархами Кончаловского, религиозными концертами, “Днями Турбиных” и, черт возьми, литературой. . . Но они не только обороняются, они и наступают. . .

Сам Берков проявляет себя не только на поприще литературной критики, он занимается общественно-бытовыми вопросами. Берков является на собрание комсомольской ячейки, где преподносит блестящий совет в области борьбы с антисемитизмом.

– Пусть, – говорит он, – евреи-комсомольцы и евреи-партийцы не выступают нигде и не проявляют себя, тогда и пропадет антисемитизм.

Этот совет не слишком оригинален. Еще в царское время черносотенные губернаторы во время волны еврейских погромов вызывали к себе “почтенных евреев” и предлагали им повлиять на еврейскую молодежь, чтобы она не “мешалась” в революцию. Этот чисто черносотенный шовинистический сюжет, нисколько не подновленный даже, преподносит советский студент.

Борьба с “есенинщиной” должна послужить стержнем для идейной борьбы честного советского студенчества со всеми видами и способами контрбандного проникновения ростков враждебной идеологии”.

Честно говоря, хотелось бы узнать о дальнейшей судьбе неведомого мне Беркова, трезво, основательно и точно, судя даже по этому “отчету”, выступавшему на диспутах, тем паче что был он такой не один.

. . . Этот принцип – игнорирование всей неудобной им фактологии – авторы “Биографии” с особой энергией задействуют в последних главах книги. Тщетно было бы ожидать от них, цитирующих отдельные отрывки в других местах из сцены последней встречи Есенина с А. Тарасовым-Родионовым, изложения или дословного приведения реплик Есенина о телеграмме Каменева

Великому Князю Михаилу, якобы хранившейся у поэта. Тщетно было бы в обилии приводимых цитат обнаружить добросовестно воспроизведенные реальные нестыковки в фактических обстоятельствах трагедии, никак не работающие на версию самоубийства. Тщетно ожидать хотя бы самой элементарной добросовестности.

Так, не доверяя Георгию Устинову, утверждавшему, что Есенин в последний день “был совершенно трезв”, авторы приводят, как контрцитату, свидетельство Лазаря Бермана, “посетившего поэта в этот же день несколько раньше” (с. 538): “Вдоль окна тянется длинный стол, в беспорядке уставленный разными закусками, графинчиками и бутылками... В комнате множество народа, совершенно для меня чуждого. Большинство расхаживало по комнате, тут и там образуя отдельные группы и переговариваясь. А на тахте, лицом кверху, лежал хозяин собрания Сережа Есенин в своем прежнем ангельском обличи. Только печатью усталости было отмечено его лицо. Погасшая папироса была зажата в зубах. Он спал”.

Вся логика авторов рушится, словно карточный домик, если мы обратимся к хорошо известному им тексту дневника Иннокентия Оксенова, из которого следует, что Берман посетил поэта совсем не “несколько раньше” Устинова, а позже всех остальных известных нам поименно гостей: “Из разговоров трудно понять, как провел Есенин свой последний день. Слухи такие: будто он был трезв, Эрлих ушел от него в 8 ч., но вечером у него был Берман, видевший Есенина пьяным”. То есть Берман пришел тогда, когда в номере не было ни Устинова, ни Эрлиха, ни кого-либо еще из знакомых ему людей, зато в номере было полно “народа чуждого”. Своеобразным и жутким подтверждением происходившего может послужить свидетельство Николая Клюева, рассказавшего обо всем художнику Николаю Минху по горячим следам, в отличие от Бермана, написавшего свои воспоминания через много десятилетий.

“... – Вечером накануне его смерти меня точно кто толкнул к нему. Пошел я к нему в гостиницу. В “Англетер” этот. Гляжу, в номере дружки его сидят. На столе коньяки, закуски. На полу хлеб, салфетки валяются. Кого-то, видать, мутило. В свином хлеву чище! Ох, думаю, зря пришел! Дружки его увидели меня и, как жеребцы, заржали: “Кутя пришел! Кутя!” Я их спрашиваю: “Сереженька-то где?” А они толкать меня в дверь зачали. “Иди, – говорят, – старик! Иди! Он ушел и придет не скоро. Баба его увела”.

А на кровати, смотрю, вроде человек лежит. Одеялом с головой укрыт. Храпит вроде. Я хотел было глянуть, кто это, да они меня не допустили. Взащей вытолкали... А наутро слышу: Сереженька повесился!..”

Все это происходило в номере Есенина 27 декабря после 8 часов вечера, после ухода Эрлиха – вплоть до 11 вечера, когда раздался телефонный звонок в квартире коменданта “Англетера” Назарова с известием, что с его постояльцем “несчастье”, как рассказывала в конце 1980-х годов его вдова – Антонина Львовна Назарова (может, и ей был сделан соответствующий “заказ”?)... А какой “заказ” был сделан Клюеву, которого попросту не допустила пирующая компания к лежащему, укрытому с головой Есенину (был ли он еще жив в эти минуты? И слышал Клюев “храп” или предсмертный хрип?)... И что могло бы произойти с самим Клюевым, если бы он все-таки поднял пальто с головы друга?.. И кого же это так “мутило”, у кого не выдержали нервы? А самое главное – кто они, пришедшие тем роковым вечером в 5-й номер “Англетера”, чьих имен мы не знаем по сей день?

Похоже, не только отвечать на эти вопросы – даже ставить их себе наши “добросовестные” биографы не намерены.

В отличие от Константина Азадовского, который, отнюдь не являясь сторонником версии насильственного лишения Есенина жизни чужой рукой, тем не менее ставил в предисловии к мемуарам Нины Гариной (“Звезда” № 9, 1995) ряд вопросов, связанных с супругами Устиновыми, далеко не “очевидного” характера. “Именно Устинов и его жена – единственные реальные очевидцы! (уже из слов Клюева мы знаем, что это не так! – С. К.) – сделали, в сущности, невозможным любое криминальное расследование, ограничив свои показания и воспоминания о случившемся 6-ю или 7-ю часами вечера и теми утренними часами, когда в гостинице появился Эрлих – посторонний, ни о чем не подозревающий “свидетель”, в присутствии которого было всего естественней позвать коменданта и войти в 5-й номер. (Оба они к тому времени уже знали или догадывались о развязке.) ... Нет, Устинов, по существу, не

лжет, но явно недоговаривает, ничего не сообщая о том, что естественно ожидалось бы в такой связи: как узнал он о самоубийстве, какими были его первые действия, кто извлекал Есенина из петли... Почему? Разве он, профессиональный литератор, был не в состоянии дописать еще несколько строк? И еще вопрос: почему понадобилось привлечь к этому Елизавету Алексеевну Устинову?.. Воспоминания Устинова и его жены близки не только по содержанию, но и – как видится – стилистически. Так можно ли поручиться, что Елизавета Алексеевна писала самостоятельно, что ее воспоминания не отредактированы Георгием Устиновым или, по крайней мере, не согласованы с ним?.. Так кто же все-таки первым вошел в 5-й номер “Англетера” (имеется в виду утро 28 декабря. – С. К.) – Елизавета Устинова с Эрлихом?.. Или Георгий Устинов с Назаровым? Откуда мог “вернуться” Устинов к 11 часам утра? Со службы? Но в его печатных воспоминаниях нет ничего подобного... А может быть, задача Устиновых в том и состояла, чтобы затеменить дело? Сказать что-то, не прояснив ничего?! Упомянуть о частностях (не слишком заботясь даже о том, чтобы они совпадали), но умолчать о главном – о ночных обстоятельствах? Если цель их была такова, то они, бесспорно, ее достигли”.

Как-то даже нехорошо получается. Константин Азадовский числится “научным редактором” рассматриваемой “Биографии”. По ходу дела возникает вопрос – как же ее “редактировал”? И откуда такое пренебрежительное отношение авторов к одной из самых содержательных работ своего “редактора” – “Последняя ночь”? Я не случайно привел эту пространную выписку из публикации Азадовского, на труды которого не единожды ссылаются М. Свердлов и О. Лекманов и именно по публикации исследователя в “Звезде” приводят цитату из Лазаря Бермана. Но ни на один из этих вопросов, заданных Азадовским, они даже не пытаются ответить и, естественно, полностью игнорируют его в “Эпilogue”, где с лихостью необыкновенной разделяются с другими авторами, якобы работавшими под таинственный “заказ”, смешивая в одну кучу серьезных исследователей с несерьезными дилетантами и не гнушаясь прямой фальсификацией: “Гневно клеймил “лицемерие и звериную сущность большевистских мани-лейб” и Сергей Каширин, автор по-своему захватывающей книги “Черная нелюдь. Легенда и документы об убийстве Сергея Есенина”. Более осторожные и утонченные сторонники *версии* об убийстве Есенина, например Станислав и Сергей Куняевы, предпочитали высказываться аккуратнее. Но и их с головой выдавал выбор на роль руководителя заговора против Есенина “зловещей фигуры Лейбы Бронштейна-Троцкого” (по чеканной характеристике Сергея Каширина)” (с. 553–554). Вообще-то говоря, интереснейшее положение, в котором приходится отвечать за чужую цитату, за цитату автора, книги которого ты не знаешь и которого в глаза не видел... Но тут момент еще более любопытный.

Как говорил в таких случаях Александр Солженицын: “Назовите страницы, лгуны!” Мы поступим деликатнее и попросту спросим наших “добросовестных”: где, на какой странице главы “Последние дни” нашей книги “Сергей Есенин” фигурирует Лев Троцкий как “руководитель заговора против Есенина”? Будь у нас документальные доказательства подобного утверждения – мы бы не преминули их привести. А так – подскажем “добросовестным” фальсификаторам: Троцкий упоминается в этой главе как отец своего сына Льва, увлечению которым “дала волю” Галина Бениславская; как фигурант письма Максима Горького Бухарину; как тот, кого заменил Фрунзе на посту наркомвоенмора; как персонаж стихотворения Пимена Карпова “История дурака”; в цитируемых А. Тарасовым-Родионовым словах Есенина: “Я очень люблю Троцкого, хотя он кое-что пишет очень неверно...” (и иную газету с писаниями Троцкого Есенин вполне мог скомкать и кинуть себе под ноги, например, номер “Правды” со статьей “Искусство революции и социалистическое искусство”); как участник закрытого заседания Исполкома Коминтерна 13 декабря 1926 года; и, наконец, упоминается “нежная по тону и совершенно крокодильская по сути поминальная статья Троцкого, который объявил Есенина не соответствующим “эпичной, катастрофичной эпохе” как бы со слезой в голосе”. Менять характеристику этой статьи у меня нет ни малейших оснований.

... На самом деле, воюя с многочисленными “есенинцами” в “Эпilogue”, наши биографы попадают в парадоксальный, невольный, но совершенно логично выстроенный ими самими капкан. Пылая праведным (и абсолютно справедливым!) гневом по адресу романа В. Безрукова “История одного

убийства” и телесериала, снятого на его основе, они сами не замечают, как их собственная “Биография” чем дальше движется к финалу, тем все больше сближается с этим самым телесериалом. Иная идеологическая направленность, противоположный подход ко многим эпизодам есенинской биографии и к концу есенинской жизни – все это отступает перед главным, тем, в чем и просматривается сходство. “Именно “алкоголик” и “праздный гуляка”, да еще в донельзя утрированном, карикатурном виде, навязан народу в сериале “Есенин” (с. 560), – пишут Лекманов и Свердлов, и здесь они совершенно правы. Но чем от этого “алкоголика” и “гуляки праздного” по сути отличается их “человек без нравственного стержня”, меняющий одно амплуа за другим, не покидающий, по мысли авторов, своей воображаемой “сцены”? Чем отличается от него все тот же “Биографический” алкоголик, предатель, вор, спекулянт кишмишем (пожили бы сами, господа хорошие, в то время, когда, чтобы с волками жить – надо было, поистине, по-волчьи выть!), неврастеник, одержимый “фобиями”, у которого “хайдовское” упоение собственными пороками” чередовалось “с “джекиловскими” короткими просветлениями” (с. 503), при том, что – “Орфей”? Да, по сути, ничем. Вот такая цена игры не Есенина, а наших авторов в “Джекила” и “Хайда”.

Само собой разумеется, что о бытовании поэзии Есенина, казалось, отесненного на далекую литературную периферию, в годы Великой Отечественной у авторов – ни слова. Ни слова о том, как поэзия Есенина помогала жить и сражаться (тому – масса свидетельств), как она возбуждала чувство Родины в мальчишках, защищавших Россию и советскую власть, ничуть не в меньшей степени, чем в мальчишках, возненавидевших эту власть “за убийство Сережи”. Вообще эта тема – посмертное существование Есенина и его поэзии в России с 1925 по 1955 год – отдельная тема, которую “биографы” “обузили” годами борьбы с “есенинщиной” – да и там не смогли толком разобраться.

А что касается гибели поэта... “Мы знаем место, день, час его последней дуэли, знаем высоту солнца над горизонтом, температуру воздуха, направление ветра, знаем размер отверстия, которое проделала пуля в его черном сюртуке. Но на каждом шагу нам приходится признавать, что мы не знаем ничего”. Так писала Серена Витале о последней дуэли Пушкина, о дуэли, которой посвящены десятки книг и сотни исследований. Достаточно в этом контексте бросить беглый взгляд на последние дни Есенина, чтобы признать: об этой трагедии мы до сих пор не знаем **вообще ничего**.

* * *

“Известен приговор Ахматовой: “Я не понимаю, почему так раздули его. В нем ничего нет – совсем небольшой поэт. /.../ Пошлость. Ни одной мысли не видно...” На эти слова Анны Ахматовой, записанные Павлом Лукницким и процитированные в финале своего объемистого тома, авторы считают нужным возразить: “Но о “небольшом поэте” не спорили бы на поэтическом Олимпе так горячо” (с. 585), приводя далее высокие слова Маяковского, Мандельштама, Пастернака, Ходасевича, – как бы “объединяясь” с ними и соблюдая при этом необходимую “объективность”.

Которая на самом деле не стоит ломаного гроша, в чем не трудно убедиться, обратившись к воспоминаниям той же Ахматовой о Есенине, записанным Александром Ломаном в 1964 году (с тем отношением Ахматовой к Есенину, зафиксированным Лукницким, Анна Андреевна вообще отказалась бы разговаривать о столь “ничтожном” для нее поэте). При этом сама проверила запись и не нашла в ней никаких искажений. Об этих воспоминаниях наши “добросовестные” опять же молчат “в тряпочку”.

“Мне он становился понятнее, – рассказывала Ахматова. – Его широко печатали, его стихи я встречала почти во всех толстых журналах и больше всего в “Красной нови”. О нем много писали, к сожалению, и много такого, что тяжело было читать – его пытались учить жить и работать, и это звучало так, как будто было только два пути – (в машинописи пропущена фраза на французском языке. – С. К.), а он явно искал свой путь – третий – и пел о жизни на шестой части земли с названием кратким “Русь”... В нем действительно было много нового. Он рассказывал о своей поездке за рубеж. Из рассказа

стало особенно ясно, насколько он русский. Его не вырвешь из полей и рощ... Не вырвешь и из новой России, и мне кажется, потому, что он, как и все мы, увидел, что

*Новый свет горит
Другого поколения у хижин.*

А ведь увидеть – значит понять. А это определяло путь, по которому идти...

В процессе чтения “Биографии” меня не оставляла мысль, что я уже встречался с чем-то подобным, во всяком случае, очень похожим. Как будто читаю книгу, а в памяти возникает некий литературный персонаж из совершенно “другой оперы”, поступающий определенным образом.

И я вспомнил. У замечательного детского писателя Радия Погодина есть рассказ, который называется “Альфред”. Сюжет его прост и непритязателен. В деревню Светлый Бор под Ленинградом съезжаются на лето маленькие горожане. Деревня живет своей жизнью по своим внутренним законам. Один из таких неписаных законов, который свято блюдут даже последние деревенские оторвы, что “кражу яблок не считали воровством”, – неприкосновенность сада деда Улана, ветерана еще 1-й мировой войны, истинного возраста которого никто не знал. Этот закон непререкаем и для гостей из города – но только не для “Альфреда”, который переступает запретную черту, за что оказывается нещадно бит деревенскими.

“Альфред” – имя нарицательное. Так в рассказе поначалу называют всех, приехавших горожан. Рассказчик сообщает, что многие к концу лета из “альфредов” превращаются в сущих деревенских “васек”, но тот – так и остался “альфредом”. И дело здесь не в месте рождения и не в социальном статусе, а в отношении к тому, что человек видит вокруг себя.

“Альфред, наверно, не понимал такой красоты. Задень она его – все повернулось бы совершенно по-другому. Альфред, наверно, никогда не видел, как цветут яблони. Словно сотни птиц уселись на ветки, помахивая белыми крыльями” (цитирую по памяти).

И чем дальше я читал книгу О. Лекманова и М. Свердлова, тем больше приходил к мысли, что эта биография Сергея Есенина написана двумя “альфредами”, которым просто не дано ни понять, ни прочувствовать того, с чем они имеют дело. Потому и взялись писать этот фолиант “без читательской любви”, с одной лишь “филологической любознательностью”, неизбежно обрекая свою книгу на литературоведческую маргинальность. Потому им и нет дела до истории России рокового слома эпох и до судьбы поэта в контексте этого сумасшедшего времени. Потому-то поступки Есенина изымаются ими из истинного контекста – и взамен создается ложный, в котором личность поэта изменяется до полной неузнаваемости, несмотря на обилие “документальных ссылок”, призванных подкрепить авторское видение.

Меня не смущают многочисленные восторженные рецензии на этот труд. Потому что я знаю: т а к о г о Есенина народ не примет, и не полюбит, и не посчитает его своим. “Свой” Есенин для всех и для каждого в отдельности – тот, кто в самые роковые дни, в самую кровавую смуту воплощал в себе и в своем уникальном творческом мире суть русского человека, который помогал оставаться русскими – последующим поколениям, уже после своей трагической гибели.

И в этом – его великая непреходящая миссия и в наше время, и в грядущие эпохи, что наступят после полного краха нынешней, уже выедающей себя изнутри, “цивилизации потребления”.